

ОПЕР ПО ИМЕНИ

НАРЬ



НАРЬ-ТРИТ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

МАКСИМ НОВИНОВЪ

Опер по имени Гарь

Максим НОВИКОВЪ

Опер по имени Гарь

«Автор»

2026

Новиковъ М.

Опер по имени Гарь / М. Новиковъ — «Автор», 2026 — (Опер по имени Гарь)

Меня звали Андрей. В 2026 году я ловил преступников по отпечаткам пальцев и камерам. Теперь я опер в 1994-м. У меня нет интернета, есть только пейджер и начальник-алкаш. А ещё труп, который никто не хочет расследовать, и бандиты, которые хотят меня убить. И я, блин, должен во всём разобраться, пока меня не грохнули или не уволили.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	22
Глава 4	29
Глава 5	36
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Максим Новиков

Опер по имени Гарь

Глава 1

Я не люблю слово опер.

В ментовских коридорах оно звучит нормально, по-свойски. А для нормальных людей ты сразу превращаешься в клише из сериала: небритый мужик в кожанке, с перегаром и табельным. Я вообще не люблю, когда меня называют. Я просто делаю свою работу. Сажу в засадах, ловлю ублюдков, прихожу домой, когда дочь уже спит, и целую жену в щёку, пока она делает вид, что не проснулась.

Машка однажды спросила: «Пап, а ты ловишь плохих дядей?» Ей было три. Я сказал – да. Она подумала и выдала: «А ты их потом отпускаешь?» Я засмеялся. А потом подумал – а ведь иногда отпускаю. Не потому что хочу, а потому что система.

Но в ту ночь всё было по-другому. В ту ночь я его держал.

В 2026 году работать было почти комфортно. Сидишь в тёплой машине, в ухе наушник, на коленях планшет, над головой дрон жужжит так тихо что его не слышно. Преступник сидит в квартире и думает, что он неуловимый. А ты пьёшь кофе из термоса и ждёшь. Потому что рано или поздно они всегда выходят. Всегда. Это закон природы, как гравитация.

– Шевелится, – сказал Сёма в наушнике.

Сёма – мой напарник. Двадцать шесть лет, рыжий, веснушчатый, похож на школьника который случайно попал в полицию. Но работает как чёрт. Лучший напарник который у меня когда либо был.

Я поправил кобуру, глянул на планшет – тепловизор показывал ровный оранжевый силуэт. Гражданин Лямин, он же Лёнчик, который целый год разводил бабушек через фальшивые Госуслуги. Двадцать миллионов рублей. Бабушки откладывали с пенсии на похороны и лекарства, а он – раз, и в карман. И жил себе в однушке на окраине, заказывал суши по вечерам и думал что он гений.

Гений, блин. Который полгода сидел на одном и том же бесплатном VPN.

– Выходит, – сказал Сёма. – Пошёл к арке. В наушниках, бас на всю. Расслабился.

Я вышел из машины. Ночь, спальный район, фонари горят через один. Тишина, только собака где-то далеко брешет. Скользнул вдоль стены – хотя смысла не было, Лёнчик бы и слона не заметил.

– Он у арки. Бери.

Я ускорился. Вот арка, вот Лёнчик – шурится на свет фонаря, достаёт зажигалку. Я рядом, рука тянется к его шкурке, рот открывается для стандартной фразы – и вдруг...

Удар.

Не в грудь, не в спину. Изнутри. Будто кто-то дёрнул главный рубильник прямо в мозгу. Вспышка, белая, обжигающая – и абсолютная тишина. Ни боли, ни звука. Только одна дурацкая мысль которая успела проскочить: «Какого хера? Это же пешеходная улица...»

И последнее что я услышал – голос Сёмы, далёкий как из-под метра земли:

– Андрюха? АНДРЮХА!

И всё.

А потом я открыл глаза. И сразу пожалел.

Голова болела так, будто внутри неё трое мужиков долбили перфоратором. Во рту – будто нагадили всем отделением и ушли. А в нос ударило такой букет что я чуть задохнулся: трёхдневный перегар, дешёвый одеколон Шипр, жареный лук и что-то сладковатое тошнотворное.

И кто-то храпел. Прямо в ухо. С присвистом на вдохе и подвыванием на выдохе. Я повернул голову и чуть не заорал.

Рядом на том же диване спала баба. Незнакомая. Лет сорока, с бигуди, с размазанной помадой, в халате который когда-то был розовым. Храпела так что шторы колыхались. Занимала три четверти дивана, а я был вдавлен в оставшуюся четверть, как селёдка в банку.

Я дёрнулся встал – и чуть не рухнул на пол. Ноги подкосились, в глазах потемнело. Вцепился в подлокотник, переждал пока мир перестанет вращаться.

И посмотрел на свои руки.

Чужие. Грубые, широкие, с кривыми сломанными пальцами. С грязью под ногтями которая казалось жила там постоянно. На костяшках – наколка: СЕВЕР. Криво, по-тюремному, набитый иголкой и шариковой ручкой.

Я дошёл до треснутого зеркала в прихожей и выпал в осадок.

Из зеркала на меня смотрел мужик лет сорока пяти. Развалина. Лицо опухшее цвета несвежей сардельки. Под глазами не мешки – чемоданы. Щетина серая клочковатая. На лбу свежая царапина от виска до брови. Нос красный в прожилках, как у любого алкоголика со стажем больше десяти лет.

Но хуже всего были глаза. Красные, потухшие, прожжённые. Такие бывают у людей которые уже ничего не ждут от жизни.

– Это что за хрень? – сказал я. И голос тоже был чужой. Хриплый, прокуренный, низкий.

Комната – одна комната в общежитии. Обои в цветочек висят лохмотьями. На стене ковёр с оленями. На тумбочке кассетник Электроника с разбитым стеклом, пачка Прими и чёрный прямоугольник с антенной.

Пейджер. Я такие в музее видел на школьной экскурсии. На зелёном экране горело: «ГОРЕЛОВ, ЗВОНИ В ОТДЕЛ. СРОЧНО».

Я обшарил куртку на стуле. Кожаная, потрёпанная, воняет табаком и кислятиной. В карманах:

Ментовское удостоверение. Горелов Андрей Петрович, старший лейтенант. С фотографией той самой рожи из зеркала. Мятые купюры с Лениным. Сорок семь тысяч. Ключи с брелоком Жигули. Записная книжка, вся в адресах и зачёркнутых именах.

Ни айфона. Ни планшета. Ничего. Ни одного предмета из моей жизни.

– Нет, – сказал я. – Это сон. Долбанный похмельный сон. Сейчас я проснусь рядом с Катей, Машка прибежит залезет под одеяло, и всё будет нормально.

Ущипнул себя. Больно. Зеркало – рожа та же. Баба продолжает храпеть. За окном каркает ворона.

Не сон.

Подъезд вонял кошками и жареной картошкой. Лифт не работал с девяносто первого года, как потом выяснилось. Я спустился во двор – и охренел.

Двор был мой. Тот самый двор в котором я вырос. Те же девятиэтажки, та же песочница, те же качели. Только тридцать лет моложе. Ржавые, обшарпанные, без ремонта. Во дворе Жигули, Москвичи, один дохлый Запорожец. Ни одной иномарки. Ни одного парковочного столбика. Ни одной камеры.

На лавочке три бабки с общим кулёчком семечек. При моём появлении повернули головы одновременно, как три турели.

– Горелов, ты чё как чумной? – крикнула одна с синими волосами. – Опять с перепою? Глянь на себя, страмина!

– Не на четвереньки пришёл, – поправила вторая. – На карачках. Это разное.

– Один хрен, – отрезала третья. – Позорище.

Я прошёл мимо молча. За углом стандартный железный ларёк. Продавщица с химзавивкой уставилась на меня сквозь окошко.

– Чего надо?

– Скажите. Какой год?

Она посмотрела на меня как на идиота.

– Горелов ты с дуба рухнул? Девяносто четвёртый. Четырнадцатое мая. А чё память отшибло? Я тебе говорила не пей у Михалыча, он палёнку гонит. Колька с пятого этажа три дня имя своё вспоминал.

Четырнадцатое мая 1994 года.

Мне ещё минус два года. Мама на третьем курсе пединститута. Папа ещё работает на заводе, который закроется ровно через один год и три месяца. Они ещё даже не познакомились.

А я стою здесь. В чужом теле. С наколками и похмельем.

Сел на лавочку закурил Приму. Закашлялся так что чуть лёгкие не выплюнул. Эта дрянь драла горло как наждачка. Но никотин подействовал, руки перестали трястись.

Факты. Соберём факты Горелов. Настоящий.

Я умер. Или почти. Что-то случилось в той арке. Сёма кричал моё имя.

Я попал тридцать два года назад. В тело другого человека. Тоже Горелова. Совпадение?

Ни одного инструмента из будущего. Ни одного знакомого. Я один.

Я мент. От меня ждут работы.

Я понятия не имею как жить в девяносто четвёртом.

– Бывало и хуже, – сказал я вслух.

Подумал.

– Нет. Не бывало.

Докурить не дали. Из-за угла вылетела милицейская шестёрка – ржавая, дребезжащая, с маячками разного цвета. Тормознула рядом, из окна высунулся красномордый мужик с рыжими усами. И заорал так что бабки подскочили на лавочке.

– ГОРЕЛОВ! Ты чё сдох там падла?! У нас труп! Все уже на месте а ты тут солнышко греешь! Быстро в машину блядь!

Я сел. Пружина из сиденья сразу впилась мне в задницу. Красномордый газанул и мы полетели.

На заднем сиденье двое ментов в трениках играли в дурака.

– Ходи Лёха не тормози.

– У меня козырь.

– Какой нахуй козырь. Бубны козыри.

– А я думал черви.

– Ты вообще хоть раз в жизни думал?

Из приёмника на всю машину орало: «А я люблю военных, красивых здоровенных...»

Комбинация. Не в ретро плейлисте, не в меме. Вживую, из радио. Как будто так и должно быть.

– Чего молчишь? – спросил водитель не поворачивая головы. – Там ларёчника завалили. В упор из обреза. Местные говорят бригада Столяра. Ты ж Столяра знаешь?

Столяр. Фамилия упала в мозг как камень в колодец. Откуда то знакомо. Из старых архивных дел которые мы проходили на курсах повышения квалификации. Я точно знал это имя. Но не мог вспомнить откуда.

– Знаю, – сказал я на всякий случай.

– Ну и хорошо. Потому что если это он – нам пиздец. Дело закроют и забудут. Столяра не сажают Горелов. Столяра уважают. Понял?

– Понял.

– Хрен ты понял. Ты вчера тоже всё понимал, а потом нажрался и уснул в дежурке. Мордой в рапорт. Который кстати переписывай, весь в слюнях.

Сзади заржали. Красномордый рыкнул на них и представился сам: Виктор Палыч. Я запомнил.

Шестёрка влетела во двор. У подъезда толпа, ещё одна ментовская машина, скорая на базе Рафика. Понятые курят в стороне. Пацан лет двенадцати показал мне средний палец и убежал.

– Давай Горелов, – сказал Виктор Палыч. – Работай. А я пока позвоню скажу что ты живой. Ставки делали очухаешься или нет. Ты три к одному.

Я подошёл к подъезду. Из-за двери тянуло кровью, порохом и смертью. Знакомый запах. Который одинаково пахнет и в 1994 и в 2026.

– Труп так труп, – сказал я себе. – Работа есть работа.

И шагнул внутрь.

На первом этаже между батареей и почтовыми ящиками лежал человек.

Мужик тридцать два года. Худой, в поношенной кожаной куртке. На спине, одна рука откинута, вторая прижата к животу. Лицо серо жёлтое восковое. Глаза открыты, с выражением тупого удивления. Он просто не поверил что его действительно убьют.

На груди дыра. Огромная рваная обожжённая по краям. Обрез в упор – это не пистолет с аккуратной дырочкой. Это месиво.

Крови лужа. Тёмная загустевшая блестящая в свете мигающей лампочки.

Рядом эксперт в мятном белом халате писал в блокнот. Лысина, очки, усы. Больше похож на районного терапевта.

– Горелов. Наконец то. Я тут уже час торчу задубел.

– Привет. Что имеем?

Он поднял голову. Прищурился.

– Ты трезвый что ли?

– Допустим.

– Нифига себе. Историческое событие.

Он рассказал: Круглов Виктор, владелец того самого ларька на углу. Жил в этом же подъезде на третьем этаже. Жена, дочка три года. Одно ранение, обрез двенадцатый калибр. Смерть между двумя и четырьмя ночи.

– Ручку есть лишнюю?

Он посмотрел на меня долгим взглядом. Протянул огрызок карандаша.

Я записал в книжку Горелова. Почерк чужой корявый. Я привык диктовать в диктофон, а тут огрызок дерева и жирное пятно от сала на обложке.

– Гильзы? – спросил я.

– Какие гильзы Горелов? Обрез. Гильза в стволе и остаётся. Найдёшь ствол будут тебе гильзы. – Он фыркнул. – Ты что первый день работаешь?

– Считаю что да.

Чистая правда.

Я присел на корточки и начал осматривать место. В 2026 у меня была бы 3д модель подъезда, биллинг всех телефонов в радиусе триста метров, сто двадцать снимков со всех ракурсов. А тут два глаза и огрызок карандаша.

Лампочка в подъезде вкручена наполовину. Кто-то специально выкрутил чтобы было темно. Убийца ждал. Круглов открыл дверь вошёл – и получил.

Я провёл рукой под батареею. Туда куда никогда не достаёт швабра. И пальцы наткнулись на что то гладкое металлическое.

Гильза. Латунная блестящая свежая. Девять миллиметров. ПМ.

Стоп. Эксперт сказал один выстрел из обреза. А тут пистолетная гильза.

Я позвал эксперта. Он подошёл посмотрел и замолчал.

– Это откуда?

– Под батареей.

– Значит стреляли двое. Надо тело ещё раз смотреть.

Он вернулся к труп. А я стоял и думал: как я знал что надо лезть именно туда? Рука сама пошла. Мой инстинкт? Или что то осталось от старого Горелова?

Мысль неприятная.

– Горелов.

Голос от входа. Негромкий спокойный. Я обернулся на автомате.

В дверях стояла девушка.

Невысокая худая жилистая. Тёмные волосы в хвост, чёлка на лоб. Джинсовая куртка чёрная водолазка кеды. Лицо острое скуластое. И тёмные глаза которые смотрели прямо в меня. Не испуганные. Не любопытные. Оценивающие. Как стрелок смотрит на мишень.

И на труп она даже не глянула.

– Ты кто? – спросил я.

Она не ответила. Зашла обошла лужу крови спокойно без брезгливости как обычную лужу после дождя. Присела рядом с телом. Пробежала взглядом по ране по стенам по полу. И подняла на меня глаза.

– Гильзу нашёл?

У меня внутри что то щёлкнуло. Она знала. Знала что гильза есть. Знала где она лежит.

– Ты кто? – повторил я жёстче.

– Живу тут. Пятый этаж. А Витьку знала. Он мне сигареты в долг продавал.

– Тебе двадцать лет какие сигареты?

– Двадцать два. И не твоё дело. Так нашёл или нет?

Она сидела на корточках в метре от трупа и на лице у неё не было ни тени страха. Только спокойный чуть насмешливый интерес.

Я достал гильзу показал на ладони.

Она кивнула как учительница которой ученик наконец то решил пример правильно.

– Вторая за почтовыми ящиками. Когда стреляют двое одновременно – гильзы летят ровно в эти две точки. Физика.

Я подошёл заглянул за ящики. Там в пыли лежала вторая гильза. Точно такая же.

– Откуда ты это знаешь?

Она пожала плечами.

– У отца тир.

Сказала это так как другие говорят «у отца гараж». Встала отряхнула колени.

– Удачи Горелов. Тебе пригодится.

И пошла наверх по лестнице. Кеда стучали по бетону ровно: тук тук тук.

– Как зовут? – крикнул я вслед.

Она остановилась на втором этаже перегнулась через перила. Тёмные глаза чёлка на лоб тень улыбки в уголке губ.

– Света.

И ушла.

Я стоял с двумя гильзами в руке и смотрел на пустую лестницу. Девчонка которая не боится трупов знает баллистику и у которой отец держит тир.

Кто ты Света с пятого этажа.

Эксперт нашёл второе ранение в бедре. Сначала пистолетом в ногу чтобы остановить. Потом обрезом в грудь чтобы добить. Чистая профессиональная работа. Не гопники.

– Столяр, – сказал я вслух.

Он замолчал. Подошёл близко сказал почти шёпотом:

– Горелов. Двадцать лет я тут трупы осматриваю. И скажу тебе одну вещь которую ты забыл пока бухал. Столяр – это не фамилия. Это приговор. Начнёшь копать – закопают. Не

бандиты. Свои. Он кормит половину отдела. Напиши в протоколе неустановленные лица и пойдём отсюда.

Я молчал. Смотрел на труп накрытый обычной домашней простынёй в голубой цветочек. На гильзы в руке. На выбоину в стене.

Круглов. Тридцать два года. Ларёчник. Тихий никого не трогал. Дочка три года. И его завалили в собственном подъезде потому что кто то решил что так надо.

А мне нечего терять. Катя, Машка, моя жизнь – всё за тридцать два года отсюда. Здесь я конченный алкаш в чужом теле. Невелика потеря.

Но труп вот он. И я единственный кому не похуй.

– Я разберусь, – сказал я тихо.

– Горелов...

– Напиши что хочешь. А я разберусь.

Эксперт покачал головой. Собрал чемодан. На пороге остановился:

– Меня зовут Геннадий Михайлович. Мы работаем вместе шесть лет. И ты за эти шесть лет ни разу так себя не вёл. Не знаю что с тобой. Может наконец протрезвел. Может по голове получил. Но будь осторожен.

И вышел.

Я опросил понятого. Мужик в телогрейке который нашёл тело. Он сказал ровно то что я ожидал. Две недели назад к Круглову пришли двое на чёрной девятке. Один здоровый в чёрном Адидас, второй поменьше в кожанке. Поговорили пятнадцать минут ушли. После этого Витька ходил серый как тень.

– Номер машины запомнил?

Он посмотрел на меня как на самоубийцу.

– Начальник ты ебанулся? Кто номера бандитских тачек запоминает? У меня семья. Мне до пенсии дожить надо а не в героя играть.

Я поблагодарил. Сказал что этого разговора не было. Он кивнул и ушёл быстро не оглядываясь.

Виктор Палыч пил чай из армейского термоса и разгадывал кроссворд. Увидел меня:

– Ну чего?

Я рассказал. Два стрелка. Два ствола. Заказуха. Двое на чёрной девятке две недели назад.

Он перестал жевать. Чай застыл в руке на полпути ко рту. Смотрел на меня пять секунд не мигая.

– Горелов. Что с тобой?

– Чего?

– Ты два года ни одного дела нормально не отработал. Протоколы с ошибками на место приезжаешь бухой. А тут приехал трезвый нашёл две гильзы опросил свидетеля выдал рабочую версию. Ты что блядь инопланетянин?

Если бы он знал.

– Просто выпался.

Он хмыкнул завёл машину. Мы поехали в отдел. По дороге я попросил у него всё что есть на Столяра. Он долго молчал. Потом сказал что серая безымянная папка лежит на третьей полке в сейфе. И что если спросят – я её не видел и он мне ничего не говорил.

Шестёрка свернула во двор ОВД. Обшарпанная трёхэтажка с табличкой Ленинский район и выцветшим красным флагом на крыше. Я вышел из машины посмотрел на здание.

Отсюда начинается. Первый шаг нового Горелова. Того который не пьёт не спит мордой в рапорт и не боится имени Столяр.

Где то на пятом этаже в том самом подъезде девчонка по имени Света стояла у окна. Или не стояла. Мне хотелось думать что стояла.

Первый день в девяносто четвёртом ладно поехали.

Глава 2

ОВД Ленинского района пах хлоркой, мокрыми шинелями и безнадёгой.

Коридор узкий, потолок низкий, лампы дневного света гудят и моргают – одна из трёх мигала с частотой эпилептического припадка. На стене стенд «Лучшие сотрудники» – фотки пожелтевшие, половина отклеилась, одна висела вниз головой и никто за полгода не поправил. Рядом плакат: «Милиция – щит народа». Кто-то дописал синим фломастером: «Щит с дырками». Другой почерк, красным: «И без зарплаты».

Линолеум вздулся пузырями. Из-за закрытой двери с табличкой «Следственный отдел» доносился крик – кого-то допрашивали с такой страстью, что стены дрожали. Или не допрашивали. В девяносто четвёртом грань была тонкая.

В 2026 году наш ОВД выглядел как офис средней руки: кондиционеры, камеры, электронные пропуска, кулер с водой. Тут кулер заменяла ржавая раковина в конце коридора, из которой текла вода цвета слабого чая.

Дежурный – толстый мужик с лицом человека, который видел всё и давно перестал удивляться – сидел за стеклянной перегородкой и ел бутерброд с варёной колбасой. Колбаса была серая и подозрительная. Впрочем, как и всё вокруг.

– О. Горелов. Живой. – Он прожевал, запил чем-то из железной кружки. – С тебя Бычкову червонец – он ставил, что ты до обеда не дотянешь.

– Передай Бычкову – я бессмертный.

Он хмыкнул. Крошки посыпались на журнал регистрации.

– Тебя Фомин ждёт. С утра. Злой как собака. Три раза спрашивал.

Фомин. Фамилия мне ни о чём не говорила. Но по тону дежурного – надо было бояться ещё вчера.

– Кабинет?

Дежурный перестал жевать. Уставился на меня поверх бутерброда.

– Горелов. Ты шесть лет к нему ходишь. Третий этаж, направо, с табличкой «Начальник РОВД». Единственная дверь, которая нормально закрывается. Ты точно в порядке?

– В полном.

– Ну-ну. Рожа у тебя, правда, как у покойника. Но это как обычно.

К Фомину я решил подняться. Но сначала – свой кабинет. Инстинкт опера: осмотрись, закрепись, собери информацию. А ещё – мне позарез нужно было понять, кем был старый Горелов. Кроме алкоголика.

Кабинет угрозыска нашёлся на втором этаже. Дверь обшарпанная, краска облезла хлопьями, замок болтается – ткни пальцем и откроется. Внутри – два стола впитык, между ними проход в полметра. На подоконнике мёртвый кактус. На стене – карта района с красными флажками, выцветший портрет Ельцина в раме и перекидной календарь, открытый на марте. Два месяца никто не перелистывал. Или некому было.

Второй стол – пустой. На нём слой пыли и след от пепельницы. Бывший напарник? Ушёл? Уволили? Убили? Я не знал, и спросить было стрёмно – старый Горелов точно знал ответ.

Мой стол определил по табличке из картона, приклеенной скотчем: «ст. л-т Горелов А.П.» На столе – пепельница с горой бычков «Примы», стакан с мутной жидкостью. Понюхал – водка. Тёплая, несвежая. На рабочем месте. В стакане для чая. Старый Горелов, ты был полная скотина.

Я вылил водку в раковину в углу. Руки дрожали – тело помнило привычку. Организм требовал. Я сжал кулаки и переждал. Не сегодня.

В ящике стола – три пустые ручки, огрызок карандаша, засохший бутерброд в газете «Комсомольская правда» за февраль, пачка чистых бланков протоколов и фотография. Чёрно-

белая, загнутая по углам. Молодой мужик в милицейской форме – худой, подтянутый, с живыми глазами и усмешкой. Старый Горелов? Лет двадцать назад? Не узнать. Совсем другой человек.

Я перевернул фото. На обороте выцветшей ручкой: «Воркута, 1978. С Лёхой после выпуска». Воркута. СЕВЕР на костяшках. Не зона – служба. Горелов начинал на Севере.

Убрал фото в карман. Не знаю зачем.

Зато сейф нашёлся сразу. Советский, тяжёлый, цвета болотной тоски, с крутилкой, как на подводной лодке. Ключ – маленький, латунный, с зелёной изолентой на головке – нашёлся в связке и подошёл со скрежетом, будто сейф открывали раз в полгода.

Первая полка – пустая бутылка «Столичной». Разумеется.

Вторая – стопка дел. Тонких, формальных. Заглянул в верхнее – кража велосипеда, приостановлено. Следующее – драка у магазина, материал отказной. Горелов работал по мелочи и даже мелочь не дорабатывал.

Третья полка.

Серая папка без надписи. Тонкая, завязана на тесёмку. Лежала в глубине, за стопкой пустых бланков – специально спрятана.

Развязал. Семь листов, машинопись на печатной машинке – буквы прыгают, «о» пробивает дырку. Пометки от руки, два разных почерка. И фотография – зернистая, чёрно-белая, явно снятая скрытно. Крупный мужик в длинном тёмном пальто выходит из чёрной «Волги». Тяжёлая челюсть, короткая стрижка, взгляд прямо в камеру – случайно, но от этого ещё страшнее.

Столяр.

Столяров Алексей Дмитриевич, 1949 года рождения. Уроженец Свердловска. Не судим. Служил в армии – ВДВ, Афганистан, 1981–1983. Официально – директор ООО «Пегас», стройматериалы и строительные услуги. Юридический адрес – Пролетарская, 34. Неофициально – рынок, шесть ларьков, автосервис на окружной, две точки палёной водки, контроль над вещевым рынком «Южный». Бригада – от десяти до двадцати человек, точный состав неизвестен. Основные: Дыня (Дынин Сергей Викторович, 1969 г.р., дважды судим – разбой и нанесение тяжких) и Чех (Чехов Олег Николаевич, 1971 г.р., судим за вымогательство, условно).

Афганистан. ВДВ. Я задержал дыхание.

И строчка, от которой у меня похолодело: «Контакты в органах МВД – предположительно на уровне руководства РОВД. Точные данные отсутствуют. Возможно покровительство на уровне УВД области (не подтв.)».

Руководство РОВД. Фомин? Или кто-то ещё?

Последний лист – записка от руки, аккуратным мелким почерком с характерными завитками на «д» и «у»:

«Андрей! Это всё, что удалось собрать за два года. Больше – опасно. С. не трогай – он прикрыт сверху, и не нами. Если полезешь – не прикрою. Не потому что не хочу. Потому что не смогу. В.П.»

Виктор Палыч. Красномордый с рыжими усами. Собрал, систематизировал, спрятал в моём сейфе – и дальше не пошёл. Потому что не дурак. Потому что у него семья и пенсия через шесть лет.

А я, значит, дурак. Потому что у меня ни семьи, ни пенсии, ни даже собственного тела. И я лезу.

Перечитал ещё раз. Запомнил. Спрятал папку обратно, за бланки. Запер сейф. И пошёл к Фомину.

На лестнице между вторым и третьим этажом курили двое в форме. При виде меня замолчали. Один – молодой, с усиками – посмотрел с любопытством. Второй – постарше, с погонами капитана – отвернулся. Демонстративно.

– Здорово, мужики, – сказал я.

Тишина. Молодой кивнул. Капитан затянулся и выпустил дым мне в спину.

Понятно. Горелов, ты тут на хорошем счету.

--

Фомин оказался высоким сухим мужиком лет пятидесяти пяти. Седой ёжик, впалые щёки, глаза как два ввёрнутых шурупа – серые, неподвижные, буравящие. Подполковник. На кителе – две планки: «За безупречную службу» и ещё что-то выцветшее. Единственный человек в этом здании, чей стол не был завален хламом.

– Садись.

Кабинет – аскетичный до звона. Флаг в углу, портрет президента, графин с водой на подносе. На столе одна папка, одна ручка, одна пепельница – чистая. Ни пылинки. Ни одного лишнего предмета. Человек, у которого всё под контролем. Или который хочет так выглядеть.

Я сел. Стул скрипнул.

Фомин молчал секунд десять. Смотрел на меня, как энтомолог на жука. Потом:

– Мне доложили, что ты сегодня на месте работал. Нормально работал. Две гильзы нашёл, свидетеля опросил, версию выдал. Правда?

– Правда.

– Горелов. Давай я тебе напомним. За два года: четырежды в нетрезвом на службе – это только те разы, что зафиксированы. Дважды срыв оперативных мероприятий. Один раз потерял табельное оружие – нашли в кустах у пивной на Гагарина, ствол в грязи, патрон в патроннике. Четыре выговора. Я трижды писал представление на увольнение. Трижды заворачивали. Знаешь почему?

Он не ждал ответа, но я сказал:

– Нет.

– Кадров нет. – Он произнёс это с такой усталостью, что я поверил каждой букве. – Зарплату четвёртый месяц задерживают. Молодые из академии не идут – боятся. Старые бегут – кто в охрану, кто к бандитам. Из двадцати восьми штатных единиц работают четырнадцать. А ты – хотя бы не ворует. И хотя бы ходишь на работу. Когда трезвый.

Тёплые слова. Почти комплимент. В девяносто четвёртом это, видимо, считалось похвалой.

– Дело Круглова. Что думаешь?

Я решил рискнуть. Не весь козырь – но половину.

– Заказное убийство. Два стрелка. Первый – пистолет Макарова, выстрел в бедро, остановить жертву. Второй – обрез двенадцатого калибра, в грудь, добить. Работали синхронно, значит – не первый раз. Две гильзы от ПМ – стрелок дёргал спуск дважды, одна пуля в ногу, вторая ушла в стену. Обрез – гильза в стволе, искать нечего, пока не найдём оружие. Предположительно – люди Столяра. Круглов не платил или отказался платить. Свидетель видел чёрную девятку у подъезда за две недели до убийства. Двое: один крупный, спортивный костюм, второй поменьше, кожанка.

Фомин не шевельнулся. Только пальцы правой руки чуть дрогнули на столе.

– Доказательства?

– Гильзы. Свидетельские показания. Пуля в бедре – когда баллистика даст заключение, можно будет идентифицировать ствол. Если найдём.

– Если, – повторил он. Встал, подошёл к окну. За окном – двор, тополя, ржавый «Москвич» без колёс. – Горелов. Я тебе скажу одну вещь. Столяр – не тема для старлея с четырьмя выговорами и перегаром в личном деле. Столяр – это не человек. Это система. Которая работает не потому, что он сильный, а потому что всем удобно.

Он повернулся.

– Отрабатывай то, что можешь. Без фамилий. Тихо. Гильзы – в экспертизу, свидетеля – в протокол без конкретики. Если найдёшь что-то серьёзное – что-то, что можно положить на стол прокурору и не получить этот стол обратно в лицо – принесёшь мне. Мне лично. Не Кузьмину, не Бычкову, не дежурному. Мне. Понял?

– Понял.

– И ещё. Если тебя завтра опять найдут пьяным – мне плевать на кадровый голод. Выгоню в тот же день. Это последний шанс, Горелов. Не мой – твой.

– Понял, товарищ подполковник.

– Свободен.

Я дошёл до двери. Остановился.

– Товарищ подполковник. Зарплату правда четвёртый месяц не платят?

Он посмотрел на меня долгим взглядом. Что-то мелькнуло в серых глазах – то ли усмешка, то ли горечь.

– Иди работай, Горелов. Пока я добрый. И пока ты трезвый.

—

Вышел на улицу. Достал «Приму», прикурил со второй спички – первая сломалась. Небо серое, тяжёлое, тянет дождём. Из открытого окна первого этажа – мат, грохот стула, чей-то голос: «Я тебе в третий раз говорю – где магнитофон?!»

Я стоял и думал. Организм требовал кофе, но я уже понял, что кофе тут – растворимый, разведённый кипятком из чайника, и на вкус как подкрашенная вода. В 2026-м я бы сейчас сел в машину, открыл ноутбук, пробил по базам всех фигурантов за двадцать минут. Камеры, биллинг, соцсети, банковские транзакции. Тут – огрызок карандаша и ноги.

Ладно. Ноги так ноги. Шаг за шагом.

Первым делом – ларёк Круглова. Осмотреть ещё раз при дневном свете. Поговорить с соседями.

Ларёк стоял на углу Пролетарской и Мира. Железный, крашенный в зелёный цвет – краска облупилась, проступала ржавчина. Закрыт, на ставне бумажка от руки: «Не работает». На стене рядом – выцветшая реклама «Сникерс – не тормози, сникерсни!» и рукописное объявление: «Куплю ваучер. Дорого. Серьёзно». Номер телефона оторван – все лепестки.

Я обошёл ларёк. Сзади – мусорные баки, покосившийся деревянный забор, за ним – гаражи. Между ларьком и кирпичной стеной дома – щель сантиметров в сорок. Протиснулся, ободрав куртку. Посветил зажигалкой – пламя дрожало на ветру.

На земле – окурки, битое стекло, обёртка от «Сникерса» (ирония), голубиное перо. И замятая тетрадная страница в клетку, придавленная камешком. Не случайно залетела – кто-то бросил сюда специально. Или выронил, когда прятался от дождя.

Развернул. Список, написанный от руки – почерк уверенный, наклонный, без завитушек. Деловой:

«Круглов – 200. Ашот (мясо) – 350. Зинка (цветы) – 100. Михалыч – 150 (долг!!). Пролет. 12 ларёк – 200. Гия (авто) – 500.»

Суммы. Доллары – я это понял сразу. Двести баксов с ларька – в девяносто четвёртом это было больше, чем месячная зарплата инженера. Список сборщика. Дыня? Чех? Кто-то, кто обходил точки и собирал дань. Выронил, когда курил в щели между стенкой и ларьком. Или выбросил, как отработанный.

Три восклицательных знака после «долг» – нехороший знак для Михалыча.

Козырь. Маленький, мятый, в голубином дерьме, но козырь. Убрал во внутренний карман, застегнул на пуговицу.

Через два дома – ещё один ларёк, «Всё для дома». Тот же зелёный металл, те же ставни. Продавщица – женщина лет сорока в тёплой кофте поверх халата, вязаная шапочка на голове,

хотя на улице май. При виде удостоверения побледнела и отодвинулась вглубь ларька, к полкам с хозяйственным мылом.

– Круглова знали? Виктора?

– Витю? – Голос тихий, сиплый. Глаза бегают – на дорогу, на дома, на меня, снова на дорогу. – Знала... Мужик нормальный был. Честный. У него жена, Наташка, дочка маленькая... – Перехватило горло. – А что?

– Убили. Сегодня ночью.

Она перекрестилась. Губы затряслись.

– Господи... Господи, за что... Витенька...

– К нему приходили? В последние недели? Ребята на чёрной машине?

Тишина. Она отвернулась, начала переставлять банки на полке – те же банки, те же места. Руки дрожали так, что банка стукнулась о банку.

– Не видела. Ничего не знаю.

– А к вам? За деньгами?

Она повернулась. И вот тут я увидел. Не страх – ужас. Тот, который живёт в теле давно, как хроническая болезнь.

– Уходите. Пожалуйста. – Почти шёпот. – У меня двое детей. Мальчик в школе, девочка в садике. Пожалуйста.

Не стал давить. Тут не допросная. Тут жизнь. И её страх – не каприз, а инстинкт выживания, отточенный месяцами. Она знала всё. И именно поэтому не скажет ничего.

– Спасибо. Этого разговора не было.

Она кивнула быстро, часто, как птица. Я отошёл. В спину – звук закрывающейся ставни. Щёлк. Засов. Тишина.

—

Дальше – пивная «Якорь» на перекрёстке. Одноэтажное кирпичное здание, когда-то – столовая. Стекло мутное, изнутри – жёлтый свет и сигаретный дым. На двери табличка: «Пиво, вино, закуски. Работаем до 23:00. Просьба не ломать мебель».

Внутри – пять столов, все заняты. Мужики с кружками, красные лица, громкие голоса. По телевизору на кронштейне – «Санта-Барбара», и трое в углу смотрели с таким напряжением, будто там показывали финал чемпионата мира. «Иден, не верь ему!» – сказал один, и двое закивали.

Бармен – жилистый, лет пятидесяти, с якорем-наколкой на правом предплечье и взглядом битого жизнью флотского старшины. Протирал кружку, как в каждом баре каждого фильма. Увидел меня – лицо не изменилось, но глаза стали внимательными.

– Горелов. Пиво? – Вопрос звучал как утверждение. Видимо, старый Горелов начинал именно с этого.

– Нет. Разговор. Круглова Виктора знал?

– Знал. – Он положил тряпку, но кружку не отпустил. – Слышал, что его... – Чиркнул большим пальцем по горлу. Жест понятный на любом языке.

– От кого слышал?

– Горелов, тут район, а не Москва. К обеду весь двор знал. Бабки на лавочке – информационное агентство «ТАСС».

– Кто наезжал – знаешь?

Он поставил кружку. Наклонился через стойку. Пахнуло табаком и пивом.

– Горелов. Ты или дурак, или храбрый, или по голове получил. – Пауза. – Все знают кто. Ты знаешь. Я знаю. Мужики за столами знают. Продавщица из «Всё для дома» знает. И Витька знал – поэтому его и нет. Только никто не скажет. Потому что говорить – дороже, чем молчать. Понимаешь?

– Мне скажи.

Он выпрямился. Посмотрел мне в глаза – долго, оценивающе. И покачал головой.

– Нет. – Просто, без злости, без вызова. Как факт. Как «земля круглая». – Пива налить?

– Нет.

– Зря. Тебе б не помешало. Вид у тебя, Горелов, – как у человека, который не знает, во что вляпался. Хотя нет. Как у человека, который знает, но лезет.

Я вышел. На крыльце закурил. «Прима» уже не драла горло так сильно – привыкал. Тело привыкало. Мозг сопротивлялся.

И увидел.

Через дорогу. У старого тополя с ободранной корой. Чёрная девятка. ВАЗ-2109, тонировка глухая, номера заляпаны грязью – передний так, что ни одной цифры, задний – частично. Движок работает, из выхлопной трубы – ленивый дымок. За лобовым стеклом – силуэт. Один человек. Не двигается.

Просто стоит. Просто смотрит.

Сердце дёрнулось – старое, изношенное, но отреагировало быстрее мозга. Я заставил себя не дёргаться. Докурил. Медленно, затяжка за затяжкой. Посмотрел прямо на машину. Не прячась, не отворачиваясь. Пять секунд. Десять. Пятнадцать.

В 2026-м я бы вызвал поддержку, пробил номер, поднял камеры. Тут – я и сигарета.

Девятка мигнула фарами. Один раз. Коротко. Не приветствие – предупреждение. «Мы тебя видим».

И тронулась. Мягко, без рёва. Проехала мимо меня – в трёх метрах. Стекло опустилось на ладонь, и я увидел лицо.

Молодой, лет двадцати пяти. Бритый затылок, бычья шея, золотая цепь толщиной в палец. Глаза – светлые, пустые, равнодушные. Смотрел на меня без выражения. Не как на врага – как на предмет. Который ещё не решили выбрасывать.

Губы шевельнулись. Я не услышал – но прочитал: «Мусор».

Стекло поднялось. Девятка ускорила и свернула за угол. Тихо, без визга шин. Профессионально.

Номер срисовал частично – грязь закрывала последние две цифры. Но регион, серию и первые две цифры – зафиксировал в блокноте. Плюс модель, цвет, тонировка, цепь на водителе. Всё, что есть. Мало. Но лучше, чем ничего.

Привет, Столяр. Полдня в деле – и ты уже знаешь, что кто-то копает.

Быстро работаете.

—

В ОВД зашёл на минуту – к дежурному. Попросил пробить машину: чёрная девятка, номер частичный.

Он записал, покрутил ручку в пальцах.

– Горелов, ты чего-то затеял?

– Просто проверяю.

– Угу. Последний раз, когда ты «просто проверял», тебя из канавы доставали. С фингалом и без левого ботинка. Ботинок, кстати, так и не нашли.

– Героическая потеря.

– Не смешно. Пробью, завтра скажу. Если доживёшь.

Я вернулся в кабинет. Сел. Закурил – пепельницу вытряхнул в мусорку, хоть какой-то порядок. Разложил перед собой то, что было.

Два стрелка. Пистолет Макарова – два выстрела: один в бедро, один в стену (надо проверить – есть ли выбоина, я утром не обратил внимания). Обрез двенадцатого калибра – в грудь, в упор. Лампочка выкручена заранее. Ждали. Знали, когда Круглов вернётся. Синхронная работа – значит, делали не впервые.

Дыня и Чех. По описанию – один крупный, второй поменьше. Подходит. Но «подходит» – это не доказательство. Это направление.

Нужно оружие. Найти обрез или ПМ – баллистика привяжет к гильзам и к пулям из тела. Тогда – дело. А без ствола – воздух. Слова, которые в суде развалятся за три минуты.

Только где искать ствол у бандитов, которых крышует половина отдела? И которые уже знают, что я ищу?

За окном темнело. Часы на стене показывали четверть шестого – минутная стрелка дрожала, будто тоже нервничала.

Май в девяносто четвёртом пахнет сиренью и бензином. И слежкой.

—

К шести не выдержал. Решил прогуляться. Виктор Палыч между делом обронил, что Дыня живёт в общежитии на Лесной, комната четырнадцать. «Только ты этого от меня не слышал, Горелов, и если спросят – я тебе ничего не говорил, а ты мне приснился.»

Просто пройти, посмотреть. Понять расположение. Без глупостей. Я повторил себе это трижды по дороге, и трижды не поверил.

Общежитие стояло за гаражами, на отшибе, в тупике. Пятиэтажка из серого кирпича, штукатурка обвалилась кусками – будто здание болело проказой. Перед входом – площадка утрамбованной земли и три машины. Два «Жигуля» – «копейка» и «шестёрка», обе убитые. И чёрная БМВ-«тройка». Е30, конец восьмидесятых. Старая, но вылизанная до зеркального блеска: ни пылинки, ни царапины, диски литые. В районе, где «копейка» считалась транспортом среднего класса, БМВ смотрелась как космический корабль.

На крыльце – двое. Спортивные костюмы «Адидас» (скорее всего, палёный), стрижки под ноль, семечки. Один курил, сплёвывая с крыльца. Второй лузгал подсолнечник и смотрел перед собой с выражением философа, размышляющего о тщетности бытия.

Заметили меня сразу – четыре глаза, два прицела. Тела не напряглись – но и расслабленность ушла. Как у собак, которые ещё не решили: лаять или кусать.

Я не остановился. Прошёл мимо по тротуару, шаг ровный, руки в карманах – не демонстративно, но и не прячась. Боковым зрением цеплял всё: вход один, козырёк бетонный, окна первого этажа зарешечены – грубо, арматурой. На втором этаже, третье окно слева – занавеска дёрнулась. Кто-то смотрел сверху. Комната четырнадцать – второй этаж? Похоже на то.

– Э, – сказал Семечки. Лениво, нараспев, будто звал кота. – Мужик. Ты куда?

Не обернулся. Шаг тот же.

– Мужик! Оглох?

Шаги за спиной. Быстрые, лёгкие. Я остановился, повернулся – спокойно, не резко.

Он стоял в трёх метрах. Лет двадцать, максимум. Лицо плоское, скуластое, глаза маленькие и цепкие. Цепь золотая – тоньше, чем у водителя девятки, но тоже напоказ. На запястье часы «Монтана», играют «Кукарачу» каждый час. Кроссовки белые, чистые – новые. В этом районе новые кроссовки означали одно.

– Чего надо? – спросил я.

– Это я спрашиваю. Чего шляешься?

– Гуляю.

– Не гуляй тут. Тут не парк.

Я достал удостоверение. Раскрыл. Он посмотрел – без спешки, прочитал, поднял глаза. Лицо не изменилось. Ни тени уважения. Ни тени страха.

– Мент. – Не вопрос. Констатация. – И чё?

Вот оно. Девяносто четвёртый год. Ментовская корочка – не аргумент. Мент – не власть. Мент – мебель с зарплатой, которую не платят четвёртый месяц.

– И ничё. Гуляю. Имею право. Свободен.

Он хмыкнул. Сплюнул шелуху мне под ноги. Но не двинулся. Посмотрел ещё три секунды – запоминая – и развернулся. Пошёл обратно к крыльцу, не торопясь.

Я развернулся и пошёл. Спину жгло – чужой взгляд, тяжёлый, запоминающий, провожающий. В 2026-м этот пацан лежал бы мордой в асфальт через три секунды: наручники, зачитывание прав, наряд на подстраховке. А тут – он стоит на крыльце, я ухожу, и мы оба знаем, кто тут главный.

Не я.

За углом выдохнул. Сердце колотилось – старое, надорванное. Перевёл дыхание. Руки тряслись, и я не знал – от адреналина или от того, что тело по привычке просило выпить.

Но БМВ запомнил. И занавеску на втором этаже. И лицо пацана – плоское, равнодушное, с глазами, в которых ещё не было ничего, кроме пустоты. Пустота страшнее злости. Злой человек может остановиться. Пустой – нет.

—

Обратно шёл через дворы – длинной дорогой, петляя. Проверял, нет ли хвоста. Не было. Или я не заметил – в чужом теле с чужими рефлексамися не поручусь.

Вышел к своему двору. Бабки ушли – вечернее «Поле чудес» не ждёт. Подростки тоже разбрелись. Тихо, только тополиный пух летал в жёлтом свете фонаря – невесомый, похожий на медленный снег.

У подъезда – кошка. Чёрная, жирная, наглая. Сидела на перилах и смотрела на меня с выражением: «Ну, и что ты тут забыл?»

– Сам не знаю, – сказал я ей.

Она зевнула, показав розовую пасть и жёлтые зубы, прыгнула и ушла под лавочку. Даже кошка не принимала меня всерьёз.

—

Я не пошёл к себе.

Поднялся на пятый этаж. Лестница гулкая, бетонная, пахнет сыростью и кошками. Стены исписаны – «Цой жив», «Маша + Серёга = Л», «ЦСКА – чемпион». На площадке четвёртого этажа – детский велосипед без колеса и засохший фикус в горшке.

Квартира восемнадцать. Дерматиновая дверь, обивка порезана внизу – видимо, кошка точила когти. Звонок не работал. Постучал. Подождал.

Шаги – лёгкие, мягкие. Щёлкнул замок. Один.

Открыла Света. Та же чёлка, тёмные глаза. Водолазка серая, рукава закатаны. В руках – книга с закладкой-открыткой. Агата Кристи, «Десять негрятят». На обложке – остров и десять фигурок. Символично.

– Горелов. – Она окинула меня взглядом – быстро, профессионально, как врач на приёме. – Трезвый?

– Как стёклышко.

– Второй раз за день. Рекорд?

– Не смешно.

– Не должно быть. Заходи.

Квартира – однушка. Маленькая, чистая – до звона чистая, как кабинет Фомина, только живая. Обои простые, светлые, без цветочков. На полу – половичок вязаный, явно ручная работа. Книжная полка от пола до потолка – самодельная, из досок и кирпичей. Книг – штук двести: Кристи, Конан Дойл, Сименон, Чейз. Учебники по криминалистике. Справочник по судебной медицине. Анатомический атлас.

Я задержался взглядом. Она перехватила.

– Я учусь. Заочно. Юрфак.

– Понятно.

– Не понятно, но ладно.

На стене – одна фотография. Маленькая, в деревянной рамке. Мужчина в военной форме, берет, ордена. Лицо – волевое, жёсткое. Что-то в чертах отдалённо напоминало Свету – разрез глаз, линия скул. Или мне показалось.

Она поставила чайник. Настоящий, эмалированный, на газовой плите. Газ чиркнул, загудел. Синее пламя осветило стену.

Я сел на табуретку. Она скрипнула подо мной жалобно – центнер чужого тела, помноженный на закон подлости. Света достала две чашки – разные, с отбитыми ручками, но чистые.

– Ты весь день по району шарился, – сказала она, не оборачиваясь. Голос ровный, спокойный, будто обсуждали погоду. – Я видела тебя у ларька. Потом у «Якоря». За тобой ехала чёрная машина. Минут сорок стояла у тополя. Ты заметил?

– Заметил.

– Они тебя пасут. С обеда, может раньше. Значит, ты кого-то задел. Быстро.

Я смотрел на её спину. Тонкую, прямую. Она двигалась по кухне точно, экономно, без лишних движений – как человек, который давно живёт один в маленьком пространстве. Каждый жест – выверенный.

– Света. Я кое-что нашёл за ларьком. Список. Имена и суммы. Круглов в нём первый.

Она обернулась. В глазах – короткая вспышка. Не удивление – узнавание. Она знала, что такой список существует.

– Список сборщика?

– Похоже.

– Покажи.

Я достал мятую страницу. Она взяла двумя пальцами – за край, аккуратно, как улику. Прочитала. Нахмурилась – чуть, одной складкой между бровей.

– Ашот – это с рынка. Мясной ряд, третий павильон. Зинка – цветочный ларёк на Советской, рядом с аптекой. «Пролет. 12 ларёк» – это на Пролетарской, дом двенадцать, хозяйственный. А Михалыч... – Она подняла глаза. – Михалыч – это самогонщик с третьего этажа. Который палёнку гонит.

– Знаю.

– Нет, ты не знаешь. Михалыч не сам по себе. Он гонит для Столяра. Поставщик. Палёная водка – это не хобби, это бизнес. И если он в этом списке с пометкой «долг» – два восклицательных знака, видишь? – значит, задолжал. А у Столяра с долгами просто. Сначала предупреждение. Потом – как Витька. Пометка «Гия (авто) – 500» – это автосервис на окружной. Пятьсот баксов ежемесячно.

Она знала слишком много. Для двадцатидвухлетней студентки-заочницы, живущей одной на пятом этаже. Я отметил это. Убрал в дальний ящик мозга. На потом.

Чайник засвистел – тонко, пронзительно. Она сняла его, налила два стакана. Чай пах чем-то травяным, тёплым, незнакомым. Не заваркой из пакетика – а чем-то живым.

– Чабрец, – сказала она, перехватив мой взгляд. – Мама собирала. Давно. Привычка осталась, а мамы – нет. – Сказала это без нажима, между делом, как «на улице дождь».

Мы пили чай молча. За окном темнело – медленно, нехотя, как в детстве. Фонари загорались через один – жёлтые, слабые, с мотыльками и мошкаррой вокруг. Где-то внизу хлопнула дверь подъезда. Детский крик и смех. Собака залаяла и умолкла.

Тишина между нами была не пустая. Густая, как чай. Мы оба думали, но о разном. Или об одном – просто с разных сторон.

– Горелов, – сказала она. – Витька два месяца назад приходил ко мне. Вечером, после закрытия. Сел вот тут, на эту табуретку. Нервничал, руки тряслись. Сказал, что ему подняли оплату вдвое. Было двести, стало четыреста. Он столько не зарабатывал – ларёк приносил триста, максимум триста пятьдесят. Чистыми – и того меньше.

– Почему к тебе?

– Потому что больше не к кому. Жене не хотел говорить – она бы с ума сошла. Друзей нет. Менты... – Она осеклась. Посмотрела на меня. – Извини.

– Договаривай.

– Менты – не помощь. Менты – часть проблемы. Так он сказал. Не я.

Я промолчал. Потому что он был прав.

– Я сказала – плати сколько можешь, не лезь, не спорь. Ни в коем случае не дёргайся. Дотяни до лета, накопи, увези семью. Он не послушал. Пошёл разговаривать.

– С кем?

– С Дыней. Дыня собирает. Каждый месяц, по точкам. Как почтальон. Только вместо писем – конверты с деньгами. Витька подошёл к нему и сказал – не могу четыреста, давай две-сти, как раньше. Дыня засмеялся. – Она помолчала. – Знаешь, есть смех, от которого холодно. Вот такой. Сказал: «Двести было вчера, а сегодня четыреста, а завтра будет шестьсот. Не нравится – закрывай ларёк. Или закроем мы. Вместе с тобой». Витька его послал. Матом, при людях. Дыня ушёл спокойно, даже улыбался. Через две недели Витька лежал в подъезде.

– Ты это видела?

– Разговор – нет. Витька рассказал. За день до смерти. Зашёл ко мне вечером, принёс сигареты – я просила «Яву», он достал. Посидел вот тут, чай пил из этой же чашки. И сказал: «Светк, если со мной что случится – ты знаешь кто». Я думала – рисуется, нагнетает. Мужики иногда так делают – драматизируют, чтобы пожалели. А назавтра утром в подъезде – кровь на полу и простыня с голубыми цветочками.

Она сказала это ровно. Голос не дрогнул. Но пальцы на стакане побелели, и чабрецовый чай качнулся мелкой рябью.

– Ты можешь дать показания? Официально?

– Нет.

– Почему?

– Потому что я не идиотка, Горелов. Мне двадцать два, я живу одна, замок – один, дверь – фанера с дерматином. А у Столяра – двадцать отморозков, которым всё равно кого бить: мужика, бабу, старика. Я тебе рассказываю, потому что ты первый мент за два года, который пришёл трезвый и задаёт правильные вопросы. Но показания – нет. Извини.

– Понял.

– И ещё – не записывай. Ничего из того, что я сказала. Ни в блокнот, ни в протокол. Если где-то всплывёт моё имя – я скажу, что ты всё выдумал. И мне поверят, а не тебе.

Я кивнул. Принял. Она права – по всем статьям.

– Ладно. Спасибо за чай.

Встал. Колени хрустнули – чужое тело напоминало о себе каждой суставной щелью. Она тоже встала, проводила до двери. На пороге я обернулся.

– Света. Зачем ты мне помогаешь? Правда.

Она прислонилась к дверному косяку. Скрестила руки. Чёлка упала на лоб, и она не убрала. Тень улыбки – невесёлой, взрослой – тронула уголок губ.

– Потому что когда-то никто не помог. Ни один мент. Ни один человек. Все смотрели и молчали. Может, хоть один раз будет по-другому.

Она сказала это так, будто говорила не обо мне. О чём-то давнем. Глубоком. Что носила внутри, как осколок.

– Будет, – сказал я. И сам не знал, обещаю или вру.

– Посмотрим, Горелов. Посмотрим.

Она закрыла дверь. Тихо, без стука. Замок щёлкнул – один раз. Тонкий, ненадёжный звук.

Я спустился во двор. Сел на скамейку. Закурил. Было около девяти. Небо тёмно-синее, густое, с первыми звёздами. Тополиный пух кружил в конусе фонарного света – медленно,

невесомо. Пахло сиренью от куста у подъезда и чем-то горьким – то ли палёной резиной с гаражей, то ли дымом от чьего-то мангала.

Тихо.

Из открытого окна на третьем этаже – Сектор Газа, «Лирика», негромко, хрипло. Кто-то мыл посуду под эту музыку – звякала вода, стучала тарелка.

Думал о Свете. О яблочном запахе от волос – шампунь, дешёвый, но ей шёл. О чабреце. О тёмных глазах и ровном голосе, за которым – что? Мёртвая мать. Пустая квартира. Книги по криминалистике и Агата Кристи. Двадцать два года – а выглядит как человек, который прожил сорок.

Кто ты, Света с пятого этажа? Откуда ты знаешь, где летят гильзы? Зачем тебе справочник по судебной медицине? И что за тир у твоего отца?

Дурак ты, новый Горелов. Тебе биологических сорок пять, настоящих тридцать восемь, ты в чужом разваливающемся теле, с наколками и перегаром, и думаешь о девчонке, которой двадцать два. У которой скулы, чёлка и взгляд, от которого тебе не по себе. Не потому что страшно – потому что тепло.

Но думал. Потому что за весь этот бесконечный первый день в чужой жизни она единственная посмотрела на меня как на человека. Не как на пьяное недоразумение в кожаной куртке. Как на человека, от которого чего-то ждут.

Докурил. Бычок затушил о край скамейки. Встал. Пошёл к подъезду.

Двор пустой. Фонарь моргнул, погас, снова зажёгся – тусклее. Собака где-то далеко брехала и замолкла. Тополиный пух осел на землю, как сдавшаяся армия.

Тихо.

Слишком тихо. Тихо так, как бывает только перед тем, как —

Шаги. За спиной. Быстрые, мягкие – кроссовки по асфальту.

Я начал оборачиваться.

Сухой щелчок – как треснувшая ветка – и удар. Под левую лопатку, короткий, тупой, горячий. Не пуля – кастет. Или что-то тяжёлое, завернутое в тряпку. Рёбра хрустнули. Воздух вылетел из лёгких, как из проколотого мяча.

Колени подогнулись. Асфальт прыгнул мне в лицо – шершавый, холодный, пахнувший пылью и бензином.

Второй удар – в бок. Ботинок. Тяжёлый.

Голос – сверху, спокойный, почти скупающий:

– Это предупреждение, мусор. Следующее будет последним.

Третий удар – в голову. Коротко, точно, в висок.

Темнота.

Глава 3

Первое, что я почувствовал – вкус крови. Солёный, железный, тёплый. Во рту, на губах, в горле. Потом – холод. Асфальт под щекой, мокрый от ночной росы. И боль – не точечная, а разлитая, всё тело гудело, как трансформатор под напряжением.

Открыл глаза. Левый открылся, правый – нет. Заплыл.

Лежал ничком, щекой в луже. Фонарь над головой не горел. Темнота, только из окна второго этажа – тусклый свет и силуэт кошки на подоконнике. Та самая чёрная жирная сволочь. Смотрела на меня с видом: «Говорила же».

Попробовал встать. Тело взвыло. Рёбра слева – трещина или перелом, каждый вдох как стеклом по мясу. Голова гудит, в ушах звон. Ощупал висок – кровь, запеклась, волосы слиплись. Губа разбита, распухла вдвое. Куртка задрана, рубашка порвана.

Карманы вывернуты.

Блокнот – на месте. Удостоверение – на месте. Ключи – на месте. Деньги – забрали. И список. Тот самый тетрадный листок с именами и суммами.

Знали, что искать. Или просто забрали всё подряд.

Но я его помнил. Наизусть. Потому что в 2026-м меня учили: запоминай всё, что видишь. Бумага горит, файлы стирают, телефоны разбивают. Голова – последний сейф.

Круглов – 200. Ашот (мясо) – 350. Зинка (цветы) – 100. Михалыч – 150 (долг!!). Пролет. 12 ларёк – 200. Гия (авто) – 500.

Голос из темноты – тихий, надтреснутый:

– Мужик. Живой?

У соседнего подъезда – фигура. Мелкая, сгорбленная, в телогрейке. Старик. Лицо не разглядеть, только огонёк папиросы.

– Живой, – сказал я. Голос чужой, хриплый.

– У тебя час назад видел. Думал – опять нажрался. А потом гляжу – кровь. Скорую вызвать?

– Не надо.

– Ну как хочешь. А менты что?

– Я и есть менты.

– Тогда тем более не поможет.

Он затянулся, выбросил бычок и ушёл. Дверь подъезда хлопнула – гулко, как выстрел. Я вздрогнул.

Ладно, Горелов. Ноги работают – значит, встаём.

Поднялся, цепляясь за стену. Мир плыл. Подъезд. Лестница. Каждая ступенька – отдельное приключение.

На втором этаже остановился. Подумал: к себе? Общага на четвёртом, диван с пружинами и ни грамма медикаментов. Зато водка найдётся.

Нет. Не туда.

Пятый этаж. Квартира восемнадцать.

Я знал, что это плохая идея. Час ночи, ввалиться к незнакомой девчонке с разбитой мордой. Но мозг работал на автопилоте: помощь, безопасность, доверие. Единственный человек в этом времени, который смотрел на меня как на живого.

Постучал – тихо, костяшками.

Тишина. Постучал ещё раз.

Шаги. Щёлкнул замок. Дверь открылась на цепочку.

В щели – один тёмный глаз.

– Горелов?

– Привет. Извини за час.

Цепочка слетела. Она стояла в длинной мужской рубашке – клетчатой, застиранной. Посмотрела на меня без испуга. С тем выражением, которое бывает у людей, привыкших к плохим новостям.

– Заходи. Быстро.

Она закрыла дверь, задвинула цепочку.

– Рёбра?

– Левая сторона.

– Сядь.

Я сел на табуретку в кухне. Света включила свет – и я увидел своё отражение в оконном стекле. Правый глаз – баклажан. Губа – помидор. На виске – корка крови.

– Красавец, – сказала Света.

– Всегда мечтал.

Она достала из шкафчика жестяную коробку из-под печенья. Внутри – бинт, вата, йод, перекись, пластырь, аспирин. Аккуратная, полная. У человека, который живёт один, такая аптечка – не случайность.

– Рубашку снимай.

Она помогла стянуть – левую руку я поднять не мог. На левом боку – синяк, иссиня-чёрный, от рёбер до бедра.

Тонкие пальцы осторожно прошлись по рёбрам. Я зашипел.

– Не ной. Дыши. Глубоко. Больно?

– Да.

– Трещина. Не перелом – повезло. Лёгкое не задето. Просто не дёргайся пару недель.

Промыла рану на виске перекисью. Заклеила пластырем. Протёрла лицо мокрым полотенцем – бережно, но деловито. Как медсестра, не как девчонка.

– Где научилась?

– В школе, кружок первой помощи. И у отца в тире ребята иногда друг друга рихтовали.

Опять отец. Опять тир. Третий раз упоминает – и каждый раз без имени, без подробностей.

Она налила мне воды. Я выпил жадно, в три глотка.

– Рассказывай.

– Трое. Ждали у подъезда. Сзади подошли, кастет или свинчатка. Потом ногами. Сказали – предупреждение, следующее будет последним.

– Список забрали?

– Да.

– Значит, видели, как ты за ларьком лазил. Или кто-то сдал. – Она помолчала. – Не вини продавщицу. Если ей позвонили и спросили – она бы рассказала всё. У неё двое детей и один замок.

– Список я помню наизусть.

Она посмотрела на меня странным долгим взглядом.

– Ты точно тот Горелов? Который на прошлой неделе уснул мордой в рапорт?

– Нет, – сказал я. – Не тот.

Она подождала продолжения. Я не продолжил. Она не стала спрашивать. В этом была её сила – она умела не лезть туда, куда не звали.

– Ложись, – сказала она. – Диван в комнате. В таком виде по улице идти – нарвёшься ещё раз. Или свои же заберут.

– Не могу я у тебя —

– Горелов. У тебя трещина в ребре и сотрясение. Ложись.

Я лёг. Диван был узкий, продавленный, но после асфальта – перина. Одежало пахло стиральным порошком и чуть-чуть – ею. Чабрец и яблочный шампунь.

Последняя мысль – дурацкая: я лежу на её диване, мне тридцать восемь, а телу сорок пять, а ей двадцать два.

Предпоследняя – не дурацкая: они знают, где я живу, знают, что я копаю, и дали предупреждение.

Уснул.

Проснулся от запаха. Яичница, лук, хлеб, чай.

Утро. Солнце косое, пыль в лучах. Не мой потолок. Не моя комната.

На табуретке – чистая рубашка, клетчатая, чуть маловата. И записка:

«Рубашка отцовская. Ушла на занятия. Яичница на плите. Аспирин на столе. Дверь захлопни. С.»

И ниже, мельче:

«В зеркало не смотри.»

Посмотрел. Зря. Правый глаз – баклажан, губа – оладья, ухо – свёкла. Полный овощной набор.

Съел яичницу. Запил чаем из термоса – она оставила, ещё тёплый, с чабрецом. Проглотил аспирин. Оделся. Захлопнул дверь.

Во дворе – утро, солнце, май. Дворничиха в синем халате мела дорожку и косилась на меня.

– Доброе утро, – сказал я.

– Ну-ну, – сказала она.

В ОВД пришёл к девяти. Дежурный увидел мою рожу:

– Горелов, тебя машина сбила?

– Упал. С лестницы.

– Откуда? С крыши?

В кабинете – Виктор Палыч. Увидел меня – чай встал в горле.

– Ёб...

– Тихо. Упал.

– Горелов. У тебя три разных следа от трёх разных ударов. Я двадцать лет в милиции.

С лестницы так не падают.

Я сел, закурил. «Прима» обожгла разбитую губу.

– Палыч. Михалыч-самогонщик. Где живёт точно?

Он отложил кроссворд.

– Горелов. Тебе вчера голову проломили. Сегодня хочешь продолжать?

– Да.

– Почему?

– Потому что если не я – то кто? Ты сам мне папку собрал. Два года собирал. И положил в сейф.

Он побагровел.

– Я семью кормлю. Жена, дочь, тёща парализованная. Шесть лет до пенсии.

– Я тоже не герой. Просто не могу остановиться.

Он молчал минуту.

– Пролетарская, дом восемь, квартира одиннадцать. Третий этаж. Тот самый подъезд, где Круглова убили. Днём – дома. Аппарат не бросишь.

– Спасибо.

– Горелов. Ты не тот человек, которого я знаю шесть лет. Не знаю, что с тобой случилось. Но будь осторожен.

К Михалычу пошёл пешком. Через дворы, мимо гаражей, по тропинке через пустырь. Солнце грело, сирень пахла.

Подъезд Круглова. Лента милицейская натянута криво, один конец отклеился. Кровь на полу подсохла, побурела. Смерть не уходит сразу – впитывается в стены.

Третий этаж. Квартира одиннадцать. Из-за двери – запах. Характерный, едкий. Сивуха. Аппарат работает.

Постучал.

– Кто?

– Милиция. Горелов.

Дверь открылась.

Михалыч – лет шестидесяти. Маленький, сухой, лицо коричневое, как печёное яблоко. Глаза водянистые, бегающие. Майка-алкоголичка, треники, тапки.

Увидел мою рожу – вздрогнул.

– Горелов? Это кто ж тебя так?

– С лестницы упал. Можно войти?

Не хотел впускать – но отказать менту не решился.

Квартира – грязно, захламлено. На кухне – самогонный аппарат: банка, змеевик, кастрюля. Булькает. На столе – четыре бутылки с криво наклеенными этикетками «Столичная».

– Мне насрать на твой аппарат, Михалыч. Я не по этому.

Он замер.

– А по чему?

– По Витьке Круглову. Которого убили этажом ниже, в подъезде, где ты живёшь. Ночью. Ты слышал?

– Не слышал. Спал.

– Обрез двенадцатого калибра в бетонном подъезде – как пушка. Стёкла звенят. А ты не слышал?

Кадык дёрнулся.

– Михалыч. Сядь.

Он сел. Я сел напротив. Близко. Чтобы он видел мою разбитую рожу. Чтобы понимал – меня отметили, и я всё равно здесь.

– Ты гонишь для Столяра. Разливаешь, клеишь этикетки. И должен ему сто пятьдесят долларов.

Он побелел.

– Кто тебе...

– Неважно. Витьку убили за четыреста. Ты должен сто пятьдесят. Как думаешь – тебе сколько дадут? Месяц? Два?

Молчание.

– Когда приходили?

– Неделю назад, – голос сломался. – Дыня. Сказал – до конца мая. Либо деньги, либо...

– Либо как Витька.

Он кивнул. Руки тряслись.

– Мне нужна информация, Михалыч. Только информация. Где Дыня хранит оружие?

Долгая пауза. Аппарат булькал. За стеной у соседей работал телевизор.

– Гараж, – сказал он почти шёпотом. – На Механизаторов, кооператив «Рассвет». Зелёные ворота, рядом сухой тополь. Они там собираются вечерами. Стволы – не знаю точно. Но я видел ящики. Деревянные, армейские. Дыня не давал трогать.

– Когда видел?

– Месяц назад. Вozил партию на Дынином «жигуле». В углу – три ящика, под брезентом. Я спросил – он сказал: «Не твоё дело, дед».

– Спасибо, Михалыч. Этого разговора не было.

– Горелов. – Пальцы вцепились в мой рукав, ледяные. – Ты ведь вытащишь меня?

Маленький трясущийся мужик, пропахший сивухой и страхом. Шестьдесят лет и ни одного человека рядом. Кроме мента с разбитой рожей.

– Выташу, – сказал я.

Гаражный кооператив «Рассвет» – сотня железных коробок на окраине, за промзоной. Заборчик – штакетник с дырами. Сторожевая будка пустая, на двери записка: «Ушёл. Буду после обеда. Или завтра».

Я вошёл через дыру в заборе. Четвёртый ряд. Зелёные ворота, свежекрашенные, ярко выделяются среди ржавых соседей. Тополь рядом – сухой, мёртвый, с обломанными ветками.

Замок – амбарный, серьёзный. Снизу ворот – зазор в три сантиметра. Лёг – рёбра взвыли – и посмотрел. Темно. Бетонный пол. Силуэты в глубине.

Обошёл. Сзади, в верхней части стены – вентиляционное отверстие. Решётка проржавела. Подтянулся, заглянул.

Машина. «Девятка». Чёрная. Тонированная.

Та самая.

А за ней, у дальней стены – деревянные ящики. Три штуки. Один открыт. Из-под промасленной тряпки торчит ствол. Короткий, обрезанный.

Обрез.

Сердце ударило так, что рёбра заныли. Спрыгнул, прислонился к стене, выдохнул.

Вот оно. Оружие в гараже Дыни. Рядом с машиной, которая следила за мной. Если баллистика совпадёт – это конец. Для Дыни, для Чеха, через них – для Столяра.

Но без санкции обыск – незаконный. Улики в мусорку, дело в корзину, Горелов – под статью или под землю.

Нужен Фомин.

На выходе из кооператива у дыры в заборе стоял мужик. Крепкий, лет тридцати. Спортивный костюм, сигарета. Смотрел молча.

Я прошёл мимо. Шаг ровный. Спина ждала удара.

Удара не было.

Только голос вдогонку:

– Заблудился, батя?

– Нет. Уже нашёл.

В ОВД – к Фомину. Секретарша сказала – на совещании, будет после трёх.

Ждал. Писал рапорт. Аккуратно, печатными буквами. Факты. Два стрелка, два ствола, гильзы, баллистика. Свидетель видел чёрную «девятку». Оперативным путём установлено предположительное местонахождение оружия – кооператив «Рассвет», Механизаторов. Прошу санкционировать обыск.

Без пятнадцати три поднялся. Фомин – за столом, тени под глазами.

– Садись. Чего?

Положил рапорт. Он прочитал дважды.

– Откуда информация?

– Оперативным путём.

– Горелов. Не играй. Откуда?

– Если назову – источника не станет. Физически.

Пауза.

– Обыск – это прокурор. Прокурор – это Сизов. А Сизов...

– Столяр?

Фомин не ответил. И не отрицал.

– Значит, через прокурора нельзя, – сказал я. – А если не обыск? Анонимный звонок – подозрительный гараж, пахнет газом. Патрульный приезжает, замок сбит, заглядывает – оружие. Не обыск. Обнаружение. Случайное.

Он молчал.

– Горелов. Это провокация. Фальсификация.

– А убийство Круглова – что? Которое через месяц спишут на «неустановленных лиц»? А через два месяца убьют следующего?

Тишина.

Фомин встал. Достал из сейфа початую бутылку коньяка. Налил себе. Выпил. Поставил рюмку вверх дном.

– Рапорт оставь. Я подумаю. Завтра.

На крыльце ОВД я закурил последнюю «Приму». Вечер. Небо розовое, облака длинные, тополя чёрные на фоне заката.

Из-за угла вышла Света. Джинсовая куртка, рюкзак, волосы распущены – впервые без хвоста. Увидела меня, подошла. Посмотрела на рожу.

– Жив.

– Жив.

– Рёбра?

– Ноют.

– Значит, срastaются.

Она достала из рюкзака яблоко. Зелёное, кривое.

– На. Ты небось с утра не ел. Кроме моей яичницы.

– Откуда знаешь?

– Скородку не помыл.

Я надкусил яблоко. Кислое, терпкое.

– Света. Я нашёл гараж. С оружием.

Она не спросила «какой» и «чей». Просто посмотрела – и я увидел в тёмных глазах то, что видел вчера. Надежду. Маленькую, привыкшую прятаться.

– И что дальше?

– Жду. Завтра будет ответ.

– Тебя снова побьют.

– Возможно.

– Или убьют.

– Тоже возможно.

Она помолчала.

– Горелов. Ты странный мент. Все, которых я знала, – или пьяные, или купленные. А ты трезвый, побитый и продолжаешь. Зачем?

– Долгая история.

– Я не тороплюсь.

Я посмотрел на неё. Чёлка, скулы, тёмные глаза. Ветер шевелил волосы. От неё пахло яблочным шампунем.

– Как-нибудь расскажу.

– Обещаешь?

– Обещаю.

Она кивнула, забросила рюкзак на плечо, развернулась.

– Света.

Остановилась.

– Рубашку верну. Отцовскую.

– Оставь. Ему уже не нужна.

И пошла. Кеды по асфальту – тук, тук, тук.

Я стоял с надкушенным яблоком и разбитой рожей и смотрел ей вслед, пока не свернула за угол. Потом доел. Выкинул огрызок. Потрогал рёбра – больно. Потрогал висок – болит. Губу – распухла.

Второй день в девяносто четвёртом. Я жив, трезв, у меня есть гараж с оружием, рапорт у начальника и яблоко в желудке.

И девчонка, о которой я думаю чаще, чем следует.

Пошёл в общагу. Лёг на диван. Бабы с бигуди не было – и на том спасибо. Закрыв глаза. Впервые за два дня в чужом времени мне ничего не снилось.

И это было хорошо. Потому что завтра обещало быть хуже.

Глава 4

Снилась Машка.

Маленькая, трёхлетняя, в жёлтом платье с ромашками. Бежит по коридору нашей квартиры – босиком, пятки шлёпают по ламинату. Смеётся. Я ловлю её на руки, подбрасываю к потолку, она визжит от восторга. Катя стоит в дверях кухни, вытирает руки полотенцем и улыбается. Пахнет блинами и кофе. Воскресенье. Обычное воскресенье, каких было сто, и каждое – на вес золота.

Машка прижимается щекой к моей щеке и шепчет: «Пап, а почему от тебя пахнет дымом?»

Дымом.

Я открыл глаза.

Дым. Не во сне – настоящий. Серый, едкий, плотный. Лез в горло, в нос, в глаза. Комната – тёмная, только из-под двери – оранжевая полоска. Живая, пульсирующая. Как сердцебиение.

Огонь.

Тело среагировало раньше мозга. Я скатился с дивана, упал на пол – там воздух чище, это я помнил из инструктажей. Пополз к двери. Потрогал – горячая. Не раскалённая, но горячая. Значит, горит снаружи. Дверь, коридор, может стена.

Подожгли. Суки. Подожгли.

Мозг включился – холодный, быстрый, из 2026-го. Паника – потом. Сейчас – алгоритм. Дверь – нет, за ней огонь. Окно – четвёртый этаж, без балкона, но вариант. Вода – есть, раковина в углу.

Встал на четвереньки, добрался до раковины. Открыл кран – вода полилась тонкой ржавой струйкой. Схватил полотенце, сунул под воду, намотал на лицо. Дышать стало чуть легче. Одеядло – стащил с дивана, тоже намочил. Тяжёлое, мокрое, но между мной и огнём пусть будет хоть что-то.

Дым густел. Из-под двери уже не полоска – полоса. Оранжевый свет плясал по стенам, по потолку, по ковру с оленями. Олени выглядели испуганными. Впервые за тридцать лет на стене – у них было подходящее выражение.

Окно. Единственный выход.

Схватил табуретку – ту самую, скрипучую – и ударил по стеклу. Раз, два. Стекло лопнуло, посыпалось вниз, в темноту. В комнату хлынул воздух – свежий, майский, пахнувший сиренью. И тут же – тяга. Дым рванул к окну, огонь за дверью загудел громче. Стало хуже. У меня минута, может две.

Высунулся. Четвёртый этаж. Внизу – газон, кусты, тёмный двор. Высоко. Прыгать – переломаю ноги, а в этом теле они и так еле держат.

Справа – водосточная труба. Старая, ржавая, крепилась к стене на хомутах. Советская, чугунная – не пластик, который бы уже сломался. Выдержит? Может, да. Может, нет. Третьего варианта нет.

Я перекинул ногу через подоконник. Осколки стекла впились в ладони – плевать. Дотянулся до трубы. Холодная, шершавая от ржавчины. Вцепился.

Полез вниз.

Руки – ободранные, в крови – скользили по мокрому металлу. Тело Горелова весило центнер и было приспособлено для двух вещей: пить водку и лежать на диване. Лазанье по трубам в список не входило. Мышцы дрожали, пальцы немели, рёбра – те самые, с трещиной – выли на каждом движении.

Третий этаж. Хомут под рукой скрипнул, труба качнулась. Я замер. Прижался к стене. Внизу – ещё метров шесть. Вверху – из моего окна уже выбивался огонь. Красиво, если смотреть со стороны. Мне было не до эстетики.

Второй этаж. Хомут лопнул. Труба отошла от стены с хрустом – сантиметров на двадцать. Я повис, как обезьяна на лиане, ноги болтались в воздухе. Руки горели – не от огня, от ржавчины, которая сдирает кожу.

Последний метр – не спустился. Упал. Труба вырвалась из рук, я пролетел остаток и грохнулся на газон боком. Тем самым, с трещиной. Рёбра сказали мне всё, что думают – коротко и нецензурно.

Лежал на траве. Дышал. Смотрел вверх.

Из окна моей комнаты – пламя. Яркое, весёлое. Жрало обои, ковёр, диван, кассетник, пачку «Примы» на тумбочке. Всё, что было у старого Горелова – а было немного – горело.

Красиво. Правда, красиво.

Соседи высыпали минут через пять. Сначала – бабка с третьего этажа в ночнушке, крестилась и причитала. Потом мужик со второго – в трусах, с огнетушителем, который не работал с восемьдесят седьмого года. Потом – весь подъезд, кто в халатах, кто в чём мать родила.

Я сидел на бордюре. Босой – ботинки остались в комнате, сейчас они уже стали пеплом. На мне – треники, майка, мокрое полотенце на шее. Лицо – в саже. Руки – ободраны, кровь и ржавчина. Куртка – единственная – висела на стуле в комнате. Была.

От меня пахло дымом. Гарью. Волосы, кожа, одежда – всё пропиталось. Едкий, горький, стойкий запах. Запах человека, которого пытались сжечь.

Пожарные приехали через сорок минут. Красный ЗИЛ вкатился во двор, мужики в касках размотали шланг. К тому времени комната выгорела почти полностью – тушить было особо нечего. Залили, чтобы не перекинулось на соседей. Вода хлестала из окна, чёрная, вонючая.

Я сидел и смотрел. Странное чувство: смотреть, как горит чужая жизнь, которая стала твоей.

Кто-то сел рядом. Тяжело, с выдохом. Палыч. В куртке поверх пижамы, небритый, красномордый – ещё краснее обычного. Жил в соседнем доме, прибежал.

– Горелов! Живой?!

– Живой.

– Как вылез?

– Труба. Водосточная.

– Четвёртый этаж по трубе?

– Выбора не было.

Он посмотрел на меня. Долго. На закопчённое лицо, на ободранные руки, на босые ноги. На тлеющую дырку в майке, которую я не заметил.

– Ну ты и гарь, Горелов.

Слово повисло в воздухе. Гарь. Горелов – горелый – гарь. Не имя. Состояние. То, что остаётся после огня. Сажа, копоть, пепел. И человек, который не сгорел.

– Гарь, – повторил я. Попробовал на вкус. Горькое слово. Точное. – Нормально. Пусть будет Гарь.

Палыч покачал головой.

– Ты хоть понимаешь, кто это сделал?

– Понимаю.

– И?

– И ничего. Они хотели напугать. Не получилось.

– Горелов. Гарь. Блядь, как тебя теперь... Они не пугали. Они тебя убивали. Дверь облили – я потом посмотрел – растворитель, воняет за версту. Если бы ты не проснулся – всё. Угорел бы во сне. Как свечка.

Я знал. Конечно знал. Не дураки работали. Растворитель – горит быстро, жарко, почти без дыма на первых секундах. Пока учуешь – уже поздно. Мне повезло. Или Машка во сне спасла – запахом дыма из жёлтого платья.

– Палыч. У тебя ботинки лишние есть?

Он посмотрел на мои босые ноги. Потом на меня.

– Сорок третий подойдёт?

– У Горелова сорок четвёртый.

– Значит, будешь в сорок третьем. Не до жиру.

Утро наступило серое, пасмурное, как похмелье. Только без похмелья – третий день трезвый. Рекорд для этого тела.

Палыч принёс ботинки – старые, разношенные, но целые. И куртку – свою запасную, зелёную, военного покроя. На два размера мала, но я не жаловался. Ещё притащил бутерброды – хлеб с маслом и колбасой. Я съел три штуки за минуту.

В ОВД пришёл к девяти. Дежурный – вчерашний, толстый – увидел меня и вытаращил глаза.

– Горелов? Ты чего такой?

– Подгорел немного.

– Это я вижу. От тебя пахнет как от шашлыка. Что случилось?

– Комнату сожгли.

– Кто?!

– Добрые люди. Бычков на месте?

– Бычков в отгуле. А тебя Фомин ждёт. Опять.

На лестнице встретил капитана Кузьмина – того, что отвернулся при первой встрече. На этот раз не отвернулся. Посмотрел на мою закопчённую рожу, на чужую куртку, на ботинки не по размеру. И в глазах мелькнуло что-то. Не сочувствие – скорее уважение. Или удивление, что я ещё хожу.

– Здорово, Горелов.

– Здорово.

– Слышал про пожар. Хреново.

– Бывало хуже.

Соврал. Не бывало. Но в девяносто четвёртом враньё – основной навык выживания.

К Фомину поднялся. Он сидел за столом, смотрел на меня, как на привидение.

– Садись.

Сел. Стул скрипнул.

– Мне доложили, – сказал он. – Поджог общежития, четвёртый этаж, комната Горелова. Растворитель. Ты вылез через окно?

– Через трубу.

– С четвёртого этажа.

– Да.

Он помолчал. Побарабанил пальцами по столу.

– Заявление писать будешь?

– А смысл?

– Смысла нет. Но формально – положено.

– Напишу. Потом. Сейчас – гараж.

Фомин поднял бровь.

– Какой гараж?

– Тот, что в рапорте. Кооператив «Рассвет». Вы решили?

– Решил. Участковый Леднёв подаст рапорт о подозрительной активности – шум, жалобы от соседей. Формальный повод для осмотра. Не обыск – осмотр. Едешь с ним.

– Когда?

– Сейчас. Леднёв внизу ждёт.

Я встал.

– Горелов.

– Да?

– Тебя вчера пытались сжечь. Сегодня ты идёшь на осмотр гаража, в котором предположительно оружие людей, которые тебя жгли. Ты в курсе, как это выглядит?

– Как работа.

Он усмехнулся. Коротко, сухо.

– Леднёв – мужик надёжный, но осторожный. Не дави на него. И, Горелов...

– Гарь.

Он посмотрел на меня.

– Что?

– Гарь. Меня теперь так зовут.

Пауза. Фомин оценил. Кивнул.

– Гарь. Будь осторожен. Одного поджога на этой неделе достаточно.

Леднёв оказался тихим мужиком лет пятидесяти. Круглое лицо, очки, усы – типичный участковый из фильмов про добрую милицию. Форма отглажена, фуражка ровно, ботинки начищены. Двадцать пять лет на одном участке. Знает каждую собаку, каждую бабку, каждую трещину в каждом доме. И каждого бандита – но делает вид, что не знает.

Ехали на его «уазике» – древнем, зелёном, с брезентовым верхом. Трясло так, что я прикусил язык на первой же яме.

– Значит, Горелов, – начал Леднёв.

– Гарь.

– Что?

– Зови Гарь. Проще.

Он покосился, но спорить не стал.

– Значит, Гарь. Рапорт я написал. Жалобы от соседних гаражей на подозрительный шум. Это даёт мне право осмотра. Но – осмотра, не обыска. Ворота закрыты – я не имею права вскрывать. Только если открыто, или если есть основания полагать, что внутри угроза жизни.

– Понял.

– Нет, не понял. Ты, Гарь, по глазам вижу – собрался лезть. Не лезь. Я двадцать пять лет на участке. Тихо, спокойно, без подвигов. Мне три года до пенсии. Ты свою карьеру хочешь в унитаз – твоё дело. Мою – не трогай.

– Договорились.

Он не поверил. И правильно сделал.

Кооператив «Рассвет». Серый день, серые гаражи, серое небо. Забор с дырами, будка сторожа – на этот раз дед Василич был на месте. Сидел на табуретке (опять табуретка – в девяносто четвёртом это главная мебель страны), пил чай из железной кружки и слушал транзистор.

Леднёв показал удостоверение, объяснил – рапорт, жалобы, осмотр. Василич пожал плечами:

– Ходите, смотрите. Мне без разницы. Только если чего сломаете – я не видел и не знаю. Четвёртый ряд. Зелёные ворота. Я шёл и уже знал, что увижу. Чувствовал.

Ворота не были зелёными.

Серые. Свежая краска – другой оттенок, чуть темнее соседних, но серые. Перекрасили за ночь.

– Леднёв. Этот гараж два дня назад был зелёный.

– Откуда знаешь?

– Знаю.

Он посмотрел на ворота, на меня, снова на ворота.

– Зелёный, серый – какая разница?

– Разница в том, что его перекрасили. Ночью. Чтобы не нашли.

– Гарь. Мне нужен номер гаража, а не цвет. Номер есть?

Номера не было. На воротах – голое железо. Табличку сняли. Или не было никогда. В прошлый раз я не обратил внимания – смотрел на цвет, на тополь.

Тополь. Сухой, мёртвый, с обломанными ветками. Стоит. Его не перекрасишь.

– Вот этот, – сказал я. – Рядом с тополем.

Леднёв подошёл. Замок – другой. В прошлый раз был амбарный, большой. Сейчас – навесной, маленький, новый. Блестит.

– Замок сменили, – сказал я.

– Откуда ты знаешь, какой был?

Я промолчал. Леднёв вздохнул.

– Закрыто. Вскрывать не имею права. Поехали обратно.

– Подожди.

Я обошёл гараж. Сзади – стена, вентиляционное отверстие. В прошлый раз решётка была ржавая. Сейчас – новая. Железная, приваренная. Не залезешь, не заглянешь.

Всё. Каждую дырку заделали. Каждый след – стёрли. Профессионально, за одну ночь. Как будто знали, что мы придём.

Как будто знали.

Леднёв стоял у «уазика», курил и ждал.

– Ну что?

– Всё закрыто. Всё новое. Замок, решётка, краска.

– Значит, хозяин – аккуратный человек. Ремонт сделал. Имеет право.

– Леднёв. Ремонт за одну ночь – после того, как я написал рапорт?

Он затаился. Выпустил дым.

– Гарь. Я тебе скажу одну вещь. Может, ты прав. Может, в этом гараже лежали стволы. Может, их перевезли. Но у меня – рапорт о шуме, закрытый гараж и ни одного основания для вскрытия. Я участковый, а не Рэмбо.

Я стоял и смотрел на серые ворота. В голове – одно слово: утечка. Кто-то узнал. Кто-то рассказал. Между моим рапортом на столе у Фомина и этой ночью – прямая линия. И на этой линии – крыса.

– Ладно, – сказал я. – Поехали.

Мы сели в «уазик». Леднёв завёл мотор. Я посмотрел в зеркало заднего вида – и увидел: дед Василич стоит у будки и смотрит нам вслед. А рядом с ним – мужик. Крепкий, в спортивном костюме. Тот самый, что стоял у дыры в заборе, когда я приходил в прошлый раз.

Смотрел, не прячась. Спокойно.

Обратно ехали молча. Леднёв думал о пенсии. Я – о крысе.

Рапорт. Я написал его в кабинете. Отнёс Фомину. Фомин прочитал, убрал в папку. Потом – позвонил. Потом – отдал распоряжение Леднёву.

Цепочка: я – кабинет – Фомин – телефон – Леднёв. На каждом звене – возможная утечка. Кто мог видеть рапорт? Кто мог слышать звонок?

Секретарша. Зина. Сидит в приёмной, через стенку от Фомина. Слышит каждый разговор, видит каждую бумагу.

Или – Леднёв сам. Получил распоряжение, позвонил кому не надо.

Или – в кабинете угрозыска, когда я писал рапорт, кто-то заходил. Кузьмин? Бычков? Дверь не запирается – замок болтается.

Слишком много вариантов. Нужна система.

В 2026-м я бы поставил ловушку за пятнадцать минут – отправил бы разную информацию разным людям и посмотрел, какая утечёт. Классика, «канарейка». Тут – тот же принцип, только вместо мессенджеров – разговоры, вместо логов – собственная память.

Запомнил. На потом.

Вернулся в ОВД. Поднялся в кабинет. Сел за стол. Положил голову на руки.

Итого: комнату сожгли. Гараж – пуст. Рапорт – бесполезен. Утечка – есть, но не знаю откуда. Доказательств – ноль. Тело болит, рёбра ноют, руки ободраны. Жить негде.

Отличный день. Просто блестящий.

Дверь скрипнула. Я поднял голову.

Света.

Стояла в дверях кабинета – джинсовая куртка, рюкзак, тёмные глаза. Смотрела на меня. На сажу в волосах, на ободранные руки, на чужую куртку, на ботинки не по размеру.

– Я слышала, – сказала она.

– Быстро новости ходят.

– Район. К обеду все знают. Ты как?

– Целый.

– Вижу. Целый и бездомный.

Она зашла. Закрыла дверь. Достала из кармана ключ – маленький, на верёвочке. Положила на стол передо мной.

– Поживёшь у меня. Диван знаешь где.

– Света, я не могу.

– Гарь.

Первый раз она сказала это не как фамилию. Не как прозвище. Как имя. Короткое, точное. Её голос сделал его тёплым.

– Заткнись и бери ключ.

Я посмотрел на ключ. На верёвочке – узелок. Аккуратный. Она готовилась. Шла сюда и знала, что скажет. Знала, что я откажусь. И знала, что она не даст мне отказаться.

Взял ключ.

– Спасибо.

– Макароны в шкафу, тушёнка на полке. Бельё в комод, нижний ящик. И не кури в квартире – у меня книги, провоняют.

Она развернулась и ушла. Быстро, не оглядываясь. Кеды по линолеуму – тук, тук, тук.

Я сидел с ключом на ладони и думал: вот он, весь мой мир в 1994-м. Ключ на верёвочке, диван в чужой квартире и девчонка, которая почему-то не боится пускать к себе побитого закопчённого мента.

Вечером вернулся в кооператив. Один. Пешком. Через дворы, длинной дорогой, петляя – проверял хвост. Не заметил. Или стал параноиком. Или и то и другое.

Василича не было – будка закрыта, свет не горит. Ночь, тишина, только кузнечики и далёкий гул трассы.

Я подошёл к гаражу. Серые ворота, новый замок, мёртвый тополь. Всё то же.

Зачем пришёл? Не знаю. Может – чтобы убедиться. Может – чтобы не сдаваться. Может – по привычке: в 2026-м я всегда возвращался на место. Место помнит. Место хранит.

Обошёл гараж. Сзади – новая решётка на вентиляции. Стены – голый кирпич, ничего. Сбоку – стена соседнего гаража, общая.

И тут я заметил. Не снаружи – внутри. Через щель под воротами, ту самую, в три сантиметра. Лёг на землю – рёбра простонали, но терпимо – и посмотрел.

Пусто. Голый бетонный пол. Ни машины, ни ящиков, ни брезента. Чисто, вымыто. Даже пятен масла нет – а ведь там стояла «девятка». Двигатель без масла не живёт. Значит, пол мыли. Специально.

Но на дальней стене, в полумраке, я увидел: белое пятно. Мел. Буквы. Крупные, корявые. Не разглядеть целиком – щель слишком узкая, угол не тот. Видно только часть. Три слова. Два я прочитал:

СЛЕДУЮЩИЙ – Т...

Не нужно было видеть последнее слово.

Следующий – ты.

Написано для меня. Знали, что приду. Знали, что полезу смотреть. Ждали. Как в подъезде Круглова – выкрутили лампочку и ждали.

Я встал. Отряхнул колени. Руки не дрожали – и это меня удивило. Может, тело привыкло бояться. Может, я уже перешёл ту черту, за которой страх превращается в злость.

Нет. Не злость. Спокойствие. Холодное, ровное, рабочее. Как в засаде – когда сидишь в машине, пьёшь кофе из термоса и ждёшь. Потому что рано или поздно они всегда выходят. Всегда. Закон природы.

Я пошёл обратно. Через пустырь, мимо гаражей, через дворы. Фонари горели через один. Тополиный пух летал в жёлтом свете.

У подъезда Светы остановился. Посмотрел наверх – пятый этаж, окно, свет. Она дома. Может, читает Агату Кристи. Может, конспектирует учебник. Может – ждёт.

Поднялся. Открыл ключом – замок щёлкнул легко, послушно. На кухне – записка на столе:

«Суп на плите, разогрей. Полотенце чистое в ванной. Не шуми, я сплю. С.»

И ниже:

«Рада, что ты целый, Гарь.»

Я стоял с запиской в руке и смотрел на её почерк. Крупный, ровный, с круглыми буквами. Почерк человека, который привык писать конспекты. Который учится на юрфаке и хочет стать следователем. Дочь бандита, которая хочет стать следователем. Если это не ирония – то я не знаю, что такое ирония.

Разогрел суп. Гороховый, с сухарями. Ел тихо, стараясь не звякать ложкой. За стенкой – тишина. Она спала. Или делала вид.

Лёг на диван. Закрыл глаза.

Итого. Третий день в 1994-м.

Меня избили. Меня сожгли. Гараж – пуст. На стене – обещание, что я следующий. Утечка в отделе. Доказательств – ноль. Живу у девчонки, которую знаю три дня. Ношу чужие ботинки.

И прозвище – Гарь. Человек, который горел и не сгорел.

Ладно. Не сгорел – значит, работаем дальше.

Завтра – найти крысу. Послезавтра – найти оружие. Через неделю – положить Фомину на стол то, от чего не отмахнуться.

А сейчас – спать. На чужом диване, под чужим одеялом, которое пахнет чабрецом и яблочным шампунем.

Машка приснится? Не знаю. Но если приснится – пусть больше не спрашивает про дым. Я знаю, откуда дым. Теперь – знаю.

Глава 5

Утро в чужой квартире начинается с мелочей, которые бьют сильнее кастета.

Не потолок – к чужому потолку привыкаешь за минуту. И не запах – чабрец и яблочный шампунь уже стали фоном, как шум улицы. Бьёт другое: чашка. Чужая чашка с отбитой ручкой, которую тебе оставили на столе рядом с нарезанным хлебом и запиской «Суп в холодильнике». Бьёт, потому что это забота, а забота – это привязанность, а привязанность в моём положении – роскошь, которую я не могу себе позволить.

Светы не было – ушла на занятия рано, я слышал сквозь сон, как щёлкнул замок и простучали кеды по лестнице. Хорошо. Мне нужно было побыть одному, потому что сегодня я собирался копать, а копать лучше без свидетелей.

Выпил чай, съел хлеб с остатками вчерашнего варенья, ополоснул лицо ледяной водой в ванной – горячую давали по расписанию, с шести до восьми, и я опоздал. Посмотрел в зеркало: синяки перешли в стадию «болотная тоска», губа зажила, пластырь на виске пора менять. Ещё пару дней – и буду похож на человека. Не на красивого, но хотя бы на живого.

Оделся – Палычева куртка, Палычевы ботинки сорок третьего размера на сорок четвертую ногу – и вышел. Дверь захлопнулась за спиной с мягким щелчком, ключ на зелёной верёвочке лёг в карман, и я спустился по лестнице в майское утро, которое пахло сиренью, бензином и неизвестностью.

--

Есть вещи, которые опер делает в первую очередь, когда берётся за дело: он изучает территорию, изучает противника и изучает себя. Территорию я уже знал – спальный район, панельные девятиэтажки, ларьки, пивная «Якорь», кооператив «Рассвет» с пустым гаражом. Противника знал по серой папке Палыча – Столяр, Дыня, Чех, «Пегас», чёрная касса. А вот себя – то есть старого Горелова, человека, чьё тело я носил, чьи наколки красовались у меня на костяшках и чьи долги висели на мне, как гири на утопленнике, – себя я не знал совсем.

И это нужно было исправить, потому что мёртвый Горелов мог рассказать мне о Столяре больше, чем живой Палыч.

Архив ОВД располагался в подвале, за железной дверью с табличкой «Посторонним вход воспрещён» и замком, который не меняли с Брежнева. Ключ у дежурного – молодой Серёгин отдал, не спрашивая зачем, потому что в архив никто не ходил, и сам факт визита был настолько необычен, что не вызывал подозрений, а вызывал только недоумение.

Спустился по бетонным ступеням, провонявшим сыростью и кошками. Щёлкнул выключатель – лампочка сорок ватт, одна на весь подвал, загорелась нехотя, как человек, которого разбудили в четыре утра. Стеллажи железные, от пола до потолка, забиты папками, коробками, подшивками. Пыль лежала толстым слоем – не пыль даже, а археологический слой, по которому можно было определить, когда тут последний раз ступала нога человека. Судя по следам – года три назад, и то случайно.

В 2026-м я бы набрал фамилию в поисковой строке и через секунду читал бы полное досье: биометрия, послужной список, геолокация, финансовая история, связи, соцсети. Тут – стеллажи, алфавит и пальцы, чёрные от пыли.

Третий стеллаж, верхняя полка, между Глазуновым и Давыдовым. Горелов А.П. Папка тонкая, картонная, завязана на тесёмку, как подарок, который никто не хочет открывать.

Развязал, прислонился к стеллажу и начал читать, и чем дальше читал – тем яснее понимал, что старый Горелов был не тем человеком, которого я в нём видел.

Горелов Андрей Петрович, 1949 года рождения, уроженец города Воркуты.

Омская высшая школа милиции, выпуск 1978 года. Распределение – РОВД города Воркуты, участковый инспектор. Характеристика за первые три года: «Добросовестный, инициа-

тивный сотрудник, пользующийся заслуженным авторитетом среди населения обслуживаемого участка. Раскрываемость преступлений – стабильно выше средних показателей по отделу».

Воркута. СЕВЕР на костяшках. Я трогал эти буквы каждый день – синие, кривые, набитые иголкой и шариковой ручкой. Думал – зона. Оказалось – служба. Он начинал на Севере, молодой, двадцати девяти лет, после Омска, с горящими глазами и верой в то, что закон – это не пустое слово на плакате, а инструмент, который работает, если в правильных руках.

Фото из ящика стола – «Воркута, 1978, с Лёхой после выпуска». Два парня в новенькой форме, худые, весёлые, с лицами людей, которые ещё не знают, что мир устроен иначе, чем в учебниках. Кто такой Лёха – не знаю. Жив ли – тоже. Но на фото они оба живые, оба настоящие, и в глазах у обоих – тот свет, который гаснет не от возраста, а от разочарования.

1982 год – перевод по собственному желанию в родной город. Уголовный розыск, оперуполномоченный. Характеристики – одна лучше другой. «Проявляет настойчивость и инициативу в раскрытии тяжких преступлений против личности.» За 1983 год – четырнадцать раскрытых дел. За 1984-й – одиннадцать, но три из них – тяжкие, групповые. Для одного опера в районном отделе – серьёзные цифры, за которые в 2026-м дали бы премию и грамоту, а в восьмидесятых – крепкое рукопожатие и благодарность в личное дело.

1985 – старший оперуполномоченный. Благодарность от начальника УВД области – «За образцовое выполнение служебного долга при раскрытии серии разбойных нападений».

Я листал и видел человека. Не алкоголика с мешками под глазами, не развалину с красным носом в прожилках – человека. Мента, каких мало в любую эпоху: честного, упрямого, работающего не за звёзды на погонах, а потому что иначе не может. Из породы тех, кто приходит первым и уходит последним, кто не ищет оправданий и не перекладывает ответственность, кто верит – наивно, упрямо, вопреки всему – что справедливость возможна, если за неё бороться.

Горелов был лучшим в отделе. И я жил в его теле, в его шкуре, с его наколками и его прошлым – и до этой минуты не знал, кем он был.

А потом я перевернул страницу и попал в 1988 год.

—

Отдельный лист, напечатанный на другой машинке – буквы мельче, ровнее, без перекосов. Официальный документ, с входящим номером и красной печатью.

«Начальнику РОВД полковнику Грачёву Н.И. РАПОРТ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мною, старшим оперуполномоченным уголовного розыска старшим лейтенантом Гореловым А.П., установлена устойчивая организованная преступная группа под руководством гражданина Столярова А.Д., 1961 г.р., занимающаяся вымогательством, незаконным предпринимательством, а также производством и сбытом фальсифицированной алкогольной продукции на территории Ленинского района. Прошу разрешения на проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий с целью документирования преступной деятельности указанной группы...»

Далее – план. Четыре страницы убористого текста, с подпунктами, сроками, исполнителями. Агентурная работа, наружное наблюдение, контрольные закупки палёной водки, фиксация контактов и связей. Грамотно, методично, без воды и фантазий – план человека, который точно знает, что делает, и не тратит слова на то, что можно показать цифрами.

Я бы в 2026-м не постыдился положить такой план на стол своему начальнику, и мой начальник – человек, который двадцать лет проработал в УБЭПе и видел всё – кивнул бы и сказал: «Работаем».

Резолюция Грачёва, размашистым почерком человека, привыкшего к власти: «Согласен. Приступить. 14.03.1988.»

Горелов копал под Столяра. Шесть лет назад. Тем же путём, которым шёл теперь я. К тому же человеку. По тем же улицам, мимо тех же домов, через те же страхи. Ему разрешили. Ему дали зелёный свет. И он пошёл.

Материалы разработки за 1988–1989 годы сохранились частично: половина файлов – пустые, с казённой пометкой «Материал изъят и передан в УВД области. Основание – распоряжение №...». Номера распоряжений стёрты временем или кем-то, кому не хотелось, чтобы их читали. Но кое-что осталось – то ли по недосмотру, то ли потому, что тот, кто чистил, торопился.

Справка, два абзаца, сухой канцелярский язык:

«В результате проведения ОРМ установлен оперативный контакт с гражданкой Васильевой Мариной Сергеевной, 1956 г.р., работающей бухгалтером в ООО «Пегас» (учредитель – Столяров А.Д.). Васильева М.С., будучи осведомлённой о характере финансовой деятельности организации, выразила добровольное согласие на негласное сотрудничество с органами внутренних дел. В период с мая по октябрь 1989 года Васильевой М.С. переданы копии финансовых документов, подтверждающих ведение двойной бухгалтерии, наличие неучтённой денежной массы (т.н. «чёрная касса»), а также систематическое получение Столяровым А.Д. денежных средств от субъектов предпринимательской деятельности Ленинского района путём вымогательства.»

Бухгалтер. Женщина. Марина Сергеевна. Горелов нашёл то, что ищет каждый опер, работающий по организованной преступности, – человека изнутри. Не стукача, не наблюдателя, а источника с документами: цифры, счета, имена, суммы. Золотая жила, которая могла похоронить Столяра на десять лет, если довести до суда.

Если.

Я перевернул страницу, и лампочка мигнула, как будто подвал знал, что будет дальше, и не хотел показывать.

—

Ноябрь 1989 года.

Справка – другой почерк, другая машинка, другая интонация. Казённая, сухая, бесчувственная, как протокол вскрытия.

«10 ноября 1989 года гражданка Васильева Марина Сергеевна, 1956 г.р., погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на 14-м километре автодороги М-7. Автомобиль ВАЗ-2106, которым управляла Васильева М.С., потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся. По заключению автотехнической экспертизы причиной ДТП явилась техническая неисправность тормозной системы транспортного средства. Уголовное дело по данному факту не возбуждалось.»

Техническая неисправность тормозной системы. Ноябрь, гололёд, четырнадцатый километр загородной трассы. Женщина одна в машине, вечер, темнота, скорость – и вдруг педаль тормоза проваливается в пол, и машина летит в кювет, переворачивается, и всё. Тихо, чисто, убедительно. Не придерёшься – ни эксперту, ни следователю, ни суду, если бы суд был.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.